



Б. ТИХОМОЛОВ

На крыльях АДД

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»





БОРИС ТИХОМОЛОВ

На крыльях

АДД

ЗАПИСКИ ЛЕТЧИКА

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1973

P2
T46

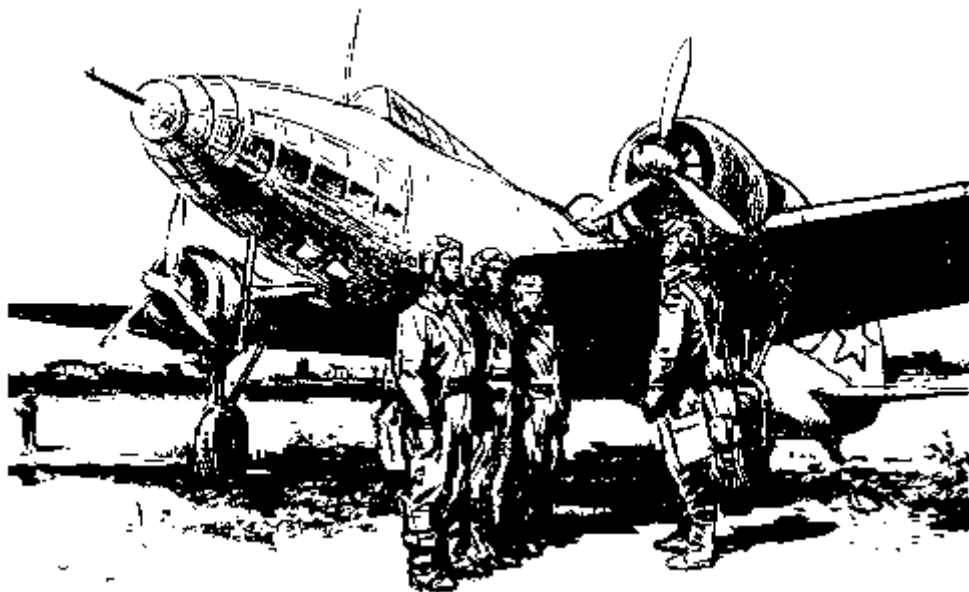
Автор этих записок — профессиональный летчик. Во время Великой Отечественной войны летал на бомбардировщиках дальнего действия. Был удостоен звания Героя Советского Союза.

В этой книге Борис Ермилович Тихомолов рассказывает о себе и своих боевых друзьях.

РИСУНКИ А. А. ЛУРЬЕ

T ~~0763—551~~ → 294—73
101(03)—73

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1973 г



МЫ — ЭКИПАЖ

Я получил назначение в ночной бомбардировочный полк авиации дальнего действия — АДД. Приехал, доложил и стал ждать, когда мне дадут самолет, экипаж. И уж месяц прошел, а мне ничего не дают и на боевые полеты не посылают. Неприятно мне очень; ребята воюют, а я, словно в санаторий приехал: завтракаю, обедаю, ужинаю и к ночи ложусь спать.

Но однажды утром в столовой ко мне подошли трое: капитан и два сержанта. Капитан пожилой, плотный, с совершенно лысой головой. Чем-то похож на медведя. Протянул руку с толстыми короткими пальцами, представился:

— Евсеев. Назначен к вам в экипаж штурманом.

Мне неловко. Штурман старше меня по возрасту и по званию. Мне хотелось бы молодого, с новой, современной выучкой. Ну да ладно, что поделаешь. Судить о качествах еще, пожалуй, рано.

Подходит второй — высокий, подобранный, с густыми волнистыми волосами, лицо доброе-доброе. В светлых глазах лукавинки.

— Старший сержант Заяц! Стрелок-радист. Назначен к вам в экипаж.

Подходит третий. Невысокого росточка. Круглый, как колобок. На розовых, не тронутых бритвой щеках пушок. Как на персике! Глаза — сама готовность. Скажи ему: «Прыгни в огонь!» — прыгнет. Встал по стойке «Смирно», доложил:

— Младший сержант Китнюк. Воздушный стрелок. Назначен к вам в экипаж!..

Смотрю на всех троих. «Значит, теперь мы — экипаж. Мы связаны одной веревочкой, и жизнь каждого зависит от внимания и умения другого. Мы должны быть дружны и спаяны. Один за всех — все за одного! Но... Я прерываю свои мысленные философские рассуждения. Чего уж там: у нас ведь нет еще самолета!..»

Спрашиваю у сержантов, устроились ли в общежитии.

— Нет, товарищ командир! — отвечает Заяц, оправляя гимнастерку. — Там еще ребята спят после боевого вылета, не хотим их будить.

«Пять очков в твою пользу! — отмечаю я. — Значит, ты не эгоист и у тебя развито чувство уважения к другим. Молодец, Заяц!»

— Ну, тогда идите погуляйте. Осмотритесь. Когда будет нужно, позову.

Со штурманом у меня разговор особый. Штурман, как я убедился, фигура в экипаже важная, и мне хочется знать о Евсееве побольше. Где летал, на каких самолетах.

Идем с ним в тень аллеи и садимся на скамью. Штурман достает портсигар с папиросами, вежливо предлагает мне. Я отказываюсь — не курю. Толстыми пальцами достает из коробка спичку. Чиркает, обламывает. Пальцы его чуть заметно дрожат. Закурил, потушил спичку, посмотрел, куда бы бросить. Не нашел, сунул в коробку.

«Пять очков в твою пользу! — подумал я. — Ты аккуратный человек, значит, будешь хорошим товарищем».

Через полчаса я уже знал о нем все, что надо.

Евсеев попал в полк из госпиталя. Летал на «ДБ-3ф». В первом же дневном бомбардировочном вылете их самолет был подожжен фашистским истребителем. Экипаж выпрыгнул на парашютах и был тотчас же расстрелян в воздухе из пулеметов тем же асом.

Евсеев тоже прыгнул, немного позже, и допустил ошибку: сначала выдернул кольцо, а потом покинул кабину. Парашют, распустившийся раньше времени, зацепился стропой за хвостовое колесо и поволок за собой штурмана. Но ему повезло: возле самой земли оборвалась стропы, и Евсеев благополучно приземлился на изорванном в клочья парашюте, только вывихнул ногу.

Я слушал его затаив дыхание. Ничего себе «окрестился»!

А вскоре дали нам самолет «ДБ-3ф» под номером четыре, побы-

вавший в бою. Над целью снаряд угодил в мотор, и летчик, не дотянув до дома, посадил машину ночью на брюхо посреди колхозного поля. Самолет отремонтировали, перегнали на аэродром.

Командир эскадрильи сказал:

— Получай «ерапнан»! Машина хорошая, легкая, но... Сам знаешь — посадка на брюхо. Словом, чуть-чуть деформировалась. И летит как-то по-собачьи — боком.

Ладно, сойдет! Я и этому был рад. По крайней мере своя машина.

И вот летим мы в первый боевой. Небо закрыто облаками. Темно, как в печке. Кое-где сверкнет огонек и погаснет. И не разберешь сразу где: на земле или в воздухе. Лечу, волнуясь. Во рту сухо. А ну как подкрадется истребитель?! А ну как поймает прожектор и шарахнет зенитка?! Что мне делать надо, какой маневр предпринимать?

Но никто не подкрадывается, и никто не шарахает. Даже линию фронта прошли без приключений. Все ритаилось, спряталось.

Постепенно освоился и даже горизонт стал различать в темноте, и леса, и реки. Совсем хорошо! Ночью-то куда лучше: ты все видишь, а тебя — нет. Лечу, блаженствую. И уж гордостью меня всего охватывает: теперь-то уж я настоящий боевой летчик, как и все.

Штурман тоже, видать, освоился. Смотрю — включил в кабине свет, расстелил карту на полу кабины, встал над ней на карачки, докладывает:

— Подходим к Ельне!..

И только произнес, как у нас перед самым носом, ослепительно сверкнув, с громким треском разорвался снаряд.

П-пах!..

Штурман полетел кубарем. Вскочил и принялся царапать пальцами шангоут левого борта.

П-пах!..

Второй снаряд. Я догадался: бьют прицельно, по освещенному носу машины. А штурман царапает стенку.

— Евсеев, ты что?! Выключай свет, к чертовой матери!..

П-пах!..

Третий снаряд...

— У-у-у!.. — подвывает штурман. — Где выключа-атель?!

— Да справа же!

Опомнился. Кинулся к правому борту, пошарил руками, выключил... Наконец-то! Вот тебе и Ельня!..

Я сделал отворот.

— Голова ты голова! Да разве можно ходить через узловые станции, да с зажженным фонарем?!

Летим дальше, под Смоленск, бомбить фашистские склады с боеприпасами. Чувства у нас самые растрепанные. Никак в себя прийти не можем после Ельни.

Цель видна далеко, по вспышкам рвущихся бомб, по синим лучам

прожекторов. Подходим. Смотрим во все глаза... Иногда там, на земле, что-то взрывалось, и тогда блекли прожектора, и взбудораженные облака светились мрачным грязновато-бордовым светом. И нам делались видны повисшие в воздухе самолеты и рябь дымок от только что разорвавшихся зенитных снарядов. И снова обшаривают ночь прожектора, и снова густо сверкают звездочки разрывов зенитного огня. А на земле, падая расплавленными каплями металла, вспыхивают, перекрывая друг друга, длинные серии бомб. Воздух стонал и дрожал, осыпь осколков врзалась в самолет. И он вздрагивал, словно от боли, подпрыгивал, качался, и мимо проносились тени.

Влетаем прямо в ад. Штурман склоняется к окуляру прицела.

— Чуть-чуть левой!.. Еще! Так, хорошо!..

Я не дышу, выдерживаю курс. Штурман прицеливается. Он должен положить бомбы как надо.

Луч прожектора ударил по глазам. Проскочил, остановился, стал шарить и... справа, чуть выше нас, совсем рядом, наткнулся на другой самолет. А мы его не видели! Мы могли бы столкнуться над целью или, оказавшись под ним, попасть под его бомбы! И тотчас же склонились сюда другие лучи, взяли в пучок. И открылась такая канонада!..

Наконец штурман говорит спокойно, будто мы с ним сидим возле штаба на скамейке:

— Подверни чуток направо! Так, хорошо. Бросаю!

И я почувствовал сладковатый запах взрывающихся пироксилиновых патронов и ощутил толчки — отрывались бомбы. Одна за другой. Тринадцать штук. Как долго... Все!..

Резко разворачиваюсь влево, круто пикирую, ухожу подальше. Ох-х!..

В столовой нам подносят законные сто граммов. И я вдруг вспоминаю давнюю сцену в аэропорту, когда из-за глупого лихачества единственным духом выпил почти пол-литра водки. Мне было тогда плохо, ужасно плохо. Долго после того от одного только вида водки меня всего трясло и мутило...

Поморщившись, я отодвинул стакан к штурману:

— Пей, я не буду.

— Ну, что ты! Надо же. Иначе не уснешь.

— Нет, нет, не могу. Мне противно. Пей.

Перед самыми глазами все еще мелькают взрывы, прожектора, жуткие тени на встречном курсе...

Еле волоча от усталости ноги, идем в общежитие. Уже светло. Плывут по небу облачка, чуть позолоченные по краям. Шелестят листвою березки. День, а мы должны спать. Не могу! Не хочу! Все во мне противится, протестует. Однако иду. Раздеваюсь. Ложусь.

Ворочаюсь. Не сплю. А ребята храпят вовсю. Завидую им.

Подходит время — пора вставать. Встаем. Одеваемся. Вялые, измятые. Обедаем. Идем в штаб. Получаем задание. Едем к самолетам, взлетаем в ночь. Влетаем в ад... И снова и снова...

Вот мы опять только что пришли с боевого задания. Не то завтракаем, не то ужинаем. По времени — завтракаем: на дворе утро, по положению — ужинаем: сейчас мы отправимся спать.

Я не сплю трети сутки. Сажу за столом, в голове звон: тинь-тинь-тинь!.. Но сознание ясное. Усталости нет. Возбуждение.

Откуда-то из-за сизого тумана выходит командир полка Щербakov. Наклоняется ко мне. Я вижу его добрые лучистые глаза.

Шепчет потихоньку:

— Ты что как головешка? Похудел, почернел. Не спишь, что ли?

— Не сплю, товарищ командир.

— А ты сто граммов!

— Не могу, товарищ командир. Не идет.

В глазах командира полка искреннее удивление.

— Вот те на! Как же это?

Молчание. Командир в недоумении: чтобы летчик, да не пил!

— Ну, а что-нибудь пьешь? Вино, например?

— Вина бы выпил.

Командир уходит. И вскоре передо мной на столе возникает бутылка портвейна «777». Ого!

Официантка смотрит на меня как на чудо. Ставит стакан. Наливает.

Вино холодное, ласковое, пахнет морем и свежестью гор. Я выпиваю всю бутылку. Стакан за стаканом. Потом сплю. День и ночь. Меня не будили. Командир не велел.

КАЖДЫЙ ОТЛИЧАЕТСЯ ПО-СВОЕМУ

С нашим переговорным устройством что-то не ладилось. Пока моторы работают на полной мощности, все хорошо, а как только сбавишь обороты — сразу падает слышимость. Аккумуляторы, что ли, сели?

Ночь. Темно. Только кусочек посадочной полосы освещен прожекторами. Веду машину на посадку и в это время слышу слабый голос радиста. Что он говорит, не разобрать, слышно только в наушниках: блю-блю-блю!..

Я отмахнулся. «Ладно, — думаю, — сядем — разберемся». И уж сели почти, но в этот момент у меня перед глазами что-то ослепительно сверкнуло, и словно кто палкой по забору провел: трр-р-р-рррах!..

С перепугу я резко дал обороты моторам, и мы снова ушли в воздух. И тут на меня полился бензин. Мне стало страшно от мысли, что мы загоримся. И я все ждал языков пламени и взрыва. Но было темно, только огни бортовые горели. Я выключил их.

Спрашиваю:

— Что случилось?!

Но никто не отозвался: переговорное устройство вышло из строя. Вгляделся в приборную доску, а от нее — одни клочья. Все приборы побиты. Ничего не пойму.

Вести самолет без приборов темной ночью трудно. А тут еще старт погасили. Сесть бы скорее...

А бензин все льется на меня, брызжет в лицо. В левом сапоге хлюпает, и сильно жжет ногу и грудь. Мне даже дурно стало от запаха бензина.

Наконец включили стартовые огни, и я уже не помню, как посадил тяжелую машину.

Очнулся в медсанбате. Солнце клонилось к западу. Значит, я проспал целый день? Ничего себе!

Дежурная сестра, увидев, что я проснулся, вышла, и тотчас же в палату вошли мои ребята — штурман, радист, стрелок. У штурмана в руках букет полевых цветов. Он кладет их мне на койку и поздравляет меня с днем рождения. И тут я вспомнил, что сегодня, 28 июня, действительно день моего рождения!

Спрашиваю:

— Друзья, объясните, пожалуйста, что такое с нами произошло?

И мне рассказали, что к нам вплотную подкрался фашистский истребитель — нас-то видно было, мы шли с включенными бортовыми огнями — и стал обстреливать из турельного пулемета. Но, видимо, стрелок был плохой, и пулеметная трасса проходила сзади меня, я ее не видел. А Заяц не мог ответить огнем своего пулемета из-за неисправности затвора. Он стал кричать, чтобы я погасил бортовые огни и отвернул в сторону, но я его не расслышал. Тогда немецкий ас зашел к нам в хвост, дал очередь из всех своих пушек и пробил нам бензиновые баки, которые не взорвались только потому, что я перед посадкой наполнил их, согласно инструкции, углекислым газом. Тем мы и спаслись.

Разумеется, с разрешения врача мы выпили по стаканчику красненького за мой день рождения и еще по стаканчику за вторичное рождение каждого из нас. И Заяц поклялся тогда, что «добудет» этого аса. Но мы его клятву на веру не взяли, потому что спяну-то бедный зайчик что только не наговорит!

А фашистские ночные истребители досаждали нам здорово. Каждую ночь вылетали они на охоту за нашими бомбардировщиками. Где мы базировались, немцы знали. И вот, займут они позицию над нашей территорией, как раз в том месте, где мы должны проходить домой, и кружатся в воздухе — нас поджидают.

Мы летим один за другим и, чтобы наши зенитчики нас не били, время от времени пускаем ракеты условленного цвета: дескать, смотрите, братки, не стреляйте, я свой! И так как мы ходили на цель большой группой, то вплоть до самого аэродрома в воздухе светились ракеты: то один пальнет, то другой. Немецким летчикам не стоило никакого труда

обнаружить нас. Подкрадется он снизу, сбоку, чтобы стрелок хвостовой не увидел, — и в упор из пушек...

Тогда мы перестали бросать опознавательные ракеты, но фашистские асы и тут нашлись: стали обнаруживать нас по пламени, что вылетало из наших выхлопных труб. Мерцают под крыльями длинные красные языки. Снизу их хорошо видно.

Надели мы на выхлопные трубы специальные пламегасители и, чтобы ночной истребитель не смог подойти снизу, стали возвращаться домой бреющим полетом. Летать низко над землей и днем-то опасно, а ночью и того хуже. Случалось, самолеты цеплялись винтами за макушки деревьев и падали...

Трудно стало фашистам разыскивать нас по маршруту, вот они и повадились ходить к нам на аэродромы.

Это только на первый взгляд кажется, что такие полеты рискованны. А на деле риску у них не было почти никакого. Ночь. Темно. Над нашим аэродромом гул от нескольких десятков самолетов, теснота. Чтобы не столкнуться друг с другом, мы включали бортовые огни. Немецкие же истребители не включали. И получалось, что они нас видят, а мы их нет! Если и мелькнет силуэт двухкилевого самолета без огней, стрелять в него страшно: а ну как свой? У нас тоже были двухкилевые самолеты. Кто возьмет на себя такой грех — сбить, может быть, своего же друга?!

А фашист нас бил. В упор, почти без промаха.

Три боевых вылета за ночь — это, конечно, много. Последний полет мы завершали, находясь уже почти в бессознательном состоянии. Казалось, самолетом управляет кто-то другой. Кто-то крутит штурвал, выпускает шасси, сбавляет обороты моторов. И, как назло, в этот раз над аэродромом скопилась куча самолетов. Всякий, норовя скорее сесть, лезет напропалую, пересекает курс, нарушает очередь. Только сигнальные огоньки мелькают: то справа, то слева, то над тобой.

Я тоже плюнул на вежливость и, не вставая в круг, сделал крутой разворот над самым стартом. Оттеснил кого-то, бесцеремонно занял его место на последней расчетной прямой. Летчик, испугавшись внезапно появившегося перед ним самолета, метнулся в сторону. В ту же секунду я успел заметить длинную очередь, идущую снизу, сбоку и явно предназначенную тому, кого я оттеснил. Теперь она досталась нам...

Я слышал, как вскрикнул радист, и тут же в ответ затрещал наш пулемет. В темноту, откуда только что стрелял невидимый враг, полилась нескончаемая огненная линия.

Конечно, мне уже было не до посадки. Я выключил свет и ушел на второй круг, недоуменно слушая, как стрекочет без умолку наш скорострельный пулемет.

В наступившей внезапно тишине — видно, кончилась лента — я услышал, к своей радости, звучные проклятия радиста:

— Г-гад! П-паразит! Ж-жаба! Прострелил плечо. У-у-у!.. Я снимал парашют, а он!..

Когда мы сели, то увидели: на земле, возле самого «Т», лежит на брюхе «фокке-вульф», и тут же, окруженные нашими офицерами, стоят, понуриив головы, три фашистских летчика.

— Ну вот, — подавляя стон, проворчал сквозь зубы радист. — Сказано — сделано. Заяц трепаться не любит!..

И получил наш радист за сбитого фрица нежданно-негаданно орден Красной Звезды. Плечо его, пробитое пулей, быстро зажило, и вот лежит он с нами в густой траве под крылом самолета и нет-нет да покоится на свою грудь, словно невзначай раздвинет ворот комбинезона.

Штурман сказал, подмигнув:

— Знаешь что, командир! Как-то неловко получается, что экипаж начинают награждать с хвоста. Теперь я тоже, слово даю, отличусь как-нибудь. Ну, прямо хоть в этом вот полете. И тоже, как Заяц, отхвачу себе орден. Тогда, братцы мои, ко мне не только на козе — на таракане не поедешь!

Радист, спрятав в глазах смешинку, приподнялся на локте.

— Это вы на что намекаете, товарищ гвардии капитан? Разве я уж так заважничал?

— А как же! Вчера говорю: «Заяц, дай-ка мне хоть клочок твоей шерстки — лысину прикрыть». А ты что ответил? Самому, дескать, надо.

Заяц провел пятерней по своей густой шевелюре.

— Ладно, товарищ гвардии капитан, отличайтесь. Мешать не будем. А что касается волос, то у меня есть волшебная расческа. Хотите, подарю?

— Не надо! — буркнул штурман. — У меня своя есть.

Я лежу, смотрю в небо, разрисованное перистыми облаками, и думаю. О чем? Там, на большой высоте, где движение масс воздуха постоянно в своем направлении, дуют сейчас с запада на восток сильные ветры. А нам лететь на запад. Значит, мне при полете до цели не нужно торопиться набирать высоту. А вот зато оттуда...

В Аэрофлоте, летя с запада на восток, я часто использовал эти воздушные течения как попутную силу. И тащило меня тогда с удвоенной скоростью. Инженер, проверяя после полета баки с горючим, бывало, разводил руками: «Да ты что — заправляешься, что ли, где по дороге?»

Сегодня в ночь на 18 июля 1942 года нам, летчикам бомбардировочной авиации дальнего действия, предстоит совершить первый рейд в глубокий тыл врага.

Бомбардировщики, замаскированные ветвями и листвой, крылом к крылу стоят длинной вереницей вдоль опушки леса, окружающего большое и не очень-то ровное для взлета поле. Экипажи, как и наш, лежат в тени, сдержанно разговаривают.

Сколько раз оккупанты бомбили советскую столицу. Они верили: Берлин от русских далеко. Берлин недосягаем. Он за пределами возможности советских самолетов.

Да, предел возможности наших самолетов известен: столько-то горючего, на столько-то часов. Но кто может измерить пределы возможности советского человека? А если добраться все-таки до Берлина? Приложить к этому всю свою злость, весь опыт и все умение?

И было решено: объявить своеобразный конкурс на мастерство вождения самолета на дальние расстояния, на степень выносливости экипажей, на умение экономить горючее. Намечены два этапа для проверки сил и возможностей: бомбардировочные рейды на Кенигсберг, затем — на Данциг. После каждого рейда будут тщательно замеряться остатки горючего в баках. Тот экипаж, чьи результаты позволят рассчитывать, что он, достигнув Берлина, возвратится домой, будет зачислен в ударную группу.

И вот сегодня первый бомбовый налет на Кенигсберг. В люках самолета — бомбы, в баках — бензин «под завязку». Даже еще под фюзеляжем, на бомбовых замках, два дополнительных бака с горючим. Это придает самолету внушительный вид. Но мне эти баки не нравятся. С ними тяжелее взлетать, а в полете они создадут излишнее лобовое сопротивление, на которое придется потратить как раз тот самый бензин, что находится в них.

В несчетный раз мысленно перебираю основные источники экономии горючего в полете. Их четыре.

Во-первых, надо вести самолет так, чтобы весь маршрут пройти с минимальным отклонением от расчетной прямой. Чем меньше отклонений, тем, разумеется, короче путь.

Во-вторых, надо пилотировать машину так, чтобы она не рыскала по высоте. Здесь тоже немалый выигрыш в пути. По существу, мне предстоит более чем восьмичасовой полет по приборам.

В-третьих, нужно правильно эксплуатировать моторы. Чем больше высота, тем воздух беднее кислородом; бензин, не успевая сгореть, выбрасывается из чрева моторов вместе с выхлопными газами. Чтобы этого не было, летчик должен, ориентируясь по приборам-газоанализаторам, регулировать подачу воздуха от нагревателей в смесительные камеры моторов. Все это было бы проще простого, если бы газоанализаторы работали исправно. Но они безбожно ввали. Доверившись им, летчик рисковал вывести моторы из строя.

И наконец, в-четвертых, отбомбившись по цели и возвращаясь домой, нужно опять помнить о ветре. Теперь он будет попутным и чем выше, тем сильнее. Значит, надо набрать как можно большую высоту.

Вот только «белое пятно» тревожило меня — наши газоанализаторы. А в остальном я к полету готов.

Солнце склонялось к закату. Все тише становились разговоры. Эки-

пажи с нетерпением ждали команды на вылет. Нервы у всех натянуты **до** предела. Каждому хотелось побывать над Берлином.

Точка вылета самолетов продумана умно. Мы один за другим снимаемся с пустынно-болотистого места. Линия фронта здесь вытягивается длинным языком к западу, чуть не до Великих Лук, и можно лететь, почти не беспокоясь о том, что тебя атакует немецкий истребитель или обстреляют зенитки.

Еще светло, и местность под нами просматривается хорошо. Но мне смотреть некогда. Я весь ушел в борьбу за экономию горючего. Не спускаю глаз с приборов. Чуткая стрелка вариометра замерла в одном положении: набор высоты — четверть метра в секунду. Мне торопиться ни к чему. До цели успею набрать потолок — семь тысяч метров. А пока нам выгодней лететь на меньшей высоте: здесь встречный ветер слабее.

Через сорок минут полета выработался бензин из подвесных баков. Говорю штурману:

— Баки выработаны. Сбрасывай их скорее ко всем чертям!

— Есть сбрасывать! — бодро отвечает Евсеев.

Через прорезь в приборной доске мне видно, как он склонился над бомбосбрасывателем.

— Впереди населенный пункт, — говорит Евсеев. — Давай сбросим их в огороды, мужикам на зажигалки!

Баки легкие, из прессованного картона, и опасности при падении не представляют. И конечно же, в них остался бензин. В хозяйстве он как пригодился бы! Но... порядок есть порядок.

После некоторого раздумья говорю:

— Нет уж, Николай Гаврилович, такими вещами шутить не полагается. Сбрасывай куда-нибудь в болото.

Справа от нас нашим курсом идет самолет. Его хорошо видно на светлом фоне северной части неба. А слева — темнота. Горят звезды. Странно. Мне такого никогда не приходилось видеть. На правом крыле — хоть заклепки считай, а левого не видеть.

С трудом доходит до меня, что в Ленинграде сейчас белые ночи. Ну, а юг остается югом.

На меня откуда-то вдруг пахнуло сквозняком. Самолет вздрогнул. Вслед за тем невнятное бормотание штурмана:

— Ах, черт возьми! Ах, черт возьми!.. Как же это... Как же...

Включаю переговорное устройство, чтобы спросить, что случилось, но меня опережает насмешливо-фамильярный голос радиста:

— Ну вот, товарищ командир, теперь можно и возвращаться...

Я опешил: такая вольность!

— Это еще что там за команда с хвоста?! Что вы себе позволяете!

— А как же? — обиделся радист. — Бомбы-то... сброшены...

Я не верю своим ушам.

— Что-о?! Что вы сказали?!

— Сброшены, говорю... Вон они догорают...

Накреняю самолет, смотрю вниз. Пустынный болотистый луг, речка, и поперек ее серия огненных пятен. Сомнений нет — это наши бомбы. Но как это случилось?!

Обалдело смотрю на приборную доску. Это же просто чудовищно! Столько трудов, столько надежд...

Мне уже все понятно. Перед взлетом штурман поставил, как полагается по инструкции, рычажки бомбосбрасывателя на отметку «залп», а сбрасывая баки, забыл повернуть рычажки в нулевое положение. И вот результат...

В душу мою змеей вползает мысль о предстоящих объяснениях с начальством. Неприятностей не оберешься. Расспросы, допросы, оскорбительные подозрения. Докажи-ка теперь, что бомбы сброшены не из-за трусости. Еще хорошо, что я не разрешил ему сбросить баки над населенным пунктом.

От мысли, что могло бы за этим последовать, меня продирает мороз по коже.

Штурман, подавленный случившимся, сидит согнувшись и, обхватив голову руками, мычит, словно от зубной боли.

— Ладно, успокойся, — говорю я. — Как-нибудь обойдется. Давай обратный курс.

Подавляя вздох, разворачиваю машину, беру обратный курс. Теперь уже правое крыло самолета растворяется в темноте, а левое...

У меня испуганно обрывается сердце: по крылу от мотогондолы тянется широкая темная полоса, спешенная рябью. Рябь колышется от воздушных струй и, сползая с кромки крыла, срывается, образуя в пространстве длинный прозрачный шлейф.

Масло! Что-то случилось с масляной системой левого мотора, и сильный насос выкачивает его наружу. Еще минут пятнадцать — двадцать — трудно сказать, я не знаю, когда это началось, — мотор заклинился бы, остановился и... кто мог бы предугадать, что ожидало нас там, за линией фронта, во вражеском стане!..

Целая буря самых противоречивых ощущений охватила меня. Еще не остыла досада на штурмана за его преступную небрежность, еще болела душа от огорчения и стыда за прерванный рейд, и вот я уже радуюсь — и тому, что штурман ошибся, и тому, что именно сейчас, а не позже обнаружена эта серьезная неисправность.

Штурман сидит в носу самолета, и ему не видно, что творится с левым мотором. Это может заметить только радист из-под своего прозрачного колпака. Я выжидаю с десятков секунд: может, он скажет об этом? Но радист молчит. Так оно и должно быть! Это значит, что он бдительно несет свою вахту. С изменением курса он повернул свою башню с двумя пулеметами на правый борт и сейчас до боли в глазах всматривается в темноту, откуда вернее всего можно ждать атаки

истребителя. Молодец, радист! Ты выдержал экзамен. Теперь остается выдержать экзамен мне.

Решаю задачу с одним неизвестным: сколько осталось масла в баке? Если мотор через десять — пятнадцать минут остановится, нам придется прыгать с парашютами. В баках полно бензина, машина тяжелая, и на одном моторе не дойти.

В этот момент я, наверное, похож на ученика, сидящего перед строгим экзаменатором. В руке у него секундомер. С каждой отсчитанной секундой все меньше и меньше остается шансов на благополучный исход. Решать надо быстро и точно. Иначе...

Скорее интуитивно, чем сознательно, сбавляю обороты левому мотору и в то же время прибавляю правому. Стрелка вариометра, качнувшись, клюнула вниз и нехотя возвратилась к нулю. Сбавляю еще левому и прибавляю правому. Теперь мы определенно снижаемся. Понемногу, но снижаемся. Даю полные обороты правому. Мотор ревет, звенит, задыхается. Иного выхода нет. Убираю почти до отказа левый мотор. Вариометр показывает снижение — один метр в секунду. Это уже неплохо. У нас на приборе — пять тысяч метров. Хватит, чтобы дотянуть. Лишь бы только крутился левый. Если его остановить, широкие лопасти винта упрутся в воздух — и тогда...

Ладно, не будем гадать, что тогда, пора уже обрадовать штурмана. Щелкаю выключателем переговорного устройства, вызываю радиста, говорю небрежно:

— Заяц, передай на КП: «Неисправен левый мотор. Бомбы сброшены, пытаемся дотянуть до ближайшего аэродрома». Все!

— Мотор?! — восклицает радист. — А что с мотором?

— Воспаление хитрости! — угрюмо констатирует штурман. — Брось, командир, не старайся!..

— О-о-о! — удивляется Заяц. — Смотрите-ка, и в самом деле все крыло в масле!

Штурман недоверчиво хмыкает:

— Эх, Заяц, Заяц, и ты туда же! Да что я, маленький, что ли? Обманите свою бабушку!

— Ну ладно, хватит! — вмешиваюсь я. — Прекратите разговоры! Мы сейчас идем на правом моторе. Левый в любую минуту может остановиться. Тогда будем прыгать. Приготовьтесь, Николай Гаврилович, проложите курс на ближайший аэродром. Выполняйте!

Мне слышно в наушниках, как судорожно вздохнул штурман, освобождаясь от нестерпимого груза совершенной ошибки. Кажется, нам всем повезло в этом полете именно благодаря рассеянности штурмана.

В блеклом сумраке белой ночи я осторожно посадил машину на бетонную полосу какого-то пустыющего аэродрома. И первое, что мы сделали, когда вылезли из самолета, от души обняли Евсева.

— А вы все-таки свое слово сдержали, товарищ гвардии капитан! — сказал радист.

— Какое? — спросил штурман.
— А как же — отличились!
— Ах да! Гм... — только и смог ответить Евсеев на эту двусмысленную похвалу.

МЫ ПОБИВАЕМ РЕКОРД

Начальник штаба полка, коренастый, с добродушнейшим лицом гвардии подполковник **Шевчук**, давая летному составу боевое задание, сказал:

— Этим рейдом мы должны убить двух зайцев: во-первых, нанести поражение скоплению вражеских танков в районе Константиновки и, во-вторых, потренироваться на дальние полеты. Прошу развернуть карты.

Штурманы раскрыли планшеты. Константиновка — это на юге, в районе Донбасса, под Горловкой. От нас — 900 километров. А до Кенгсберга — 1200.

Толкаю Евсеева.

— Дай-ка взглянуть.

Наш маршрут пролегает над территорией, не занятой противником. Пролетев две трети пути вдоль линии фронта почти строго на юг, мы затем развернемся на запад и пересечем фронт.

Да, полет трудный. И туда и обратно — при сильном боковом ветре. Одна надежда — на экономичную эксплуатацию моторов. Эх, если бы можно было подобрать правильные дозы газовой смеси! Но эти несчастные газоанализаторы по-прежнему оставались для нас «белым пятном».

— Экипажам прошу учесть, — продолжал начальник штаба, — что на этот раз в баки ваших самолетов бензина будет залито на шесть часов полета плюс двадцать пять процентов аэронавигационного запаса. И потому блуждать не рекомендуется.

Взлетели мы засветло. Но от этого нам было не легче. Густая мгла непроницаемой стеной застилала все вокруг. Едва оторвавшись от земли, мы повисли в каком-то неопределенном пространстве.

Эти секунды самые неприятные. Пока самолет разбегается, ты **еще** видишь дальний край аэродрома: капониры, опушку леса. И вдруг все это, промчавшись под крылом, исчезает. А впереди мгла! Ты лихорадочно ищешь, за что бы зацепиться взглядом, чтобы по этому предмету сориентировать машину, но ничего не находишь. И тогда в оглушительном реве моторов тебе начинают слышаться тревожные нотки. Может быть, **у** самолета уже крен и он валится к земле?

Слева под ребрами: ёк! ёк!.. Тогда, мысленно плюнув на горизонт,

которого не видно, ты опускаешь голову и вливаешься взглядом **в** приборы. И тут же перестает щекотать под ребрами. Все нормально! Самолет набирает высоту. Никакого крена нет. И уже в сознании вспыхивает искоркой хвастливая мысль: «Вот он какой я! Как хорошо взлетел!..»

Все эти чувства, самые что ни на есть противоречивые, промелькнут **в** сознании за какую-то ничтожную долю секунды, встряхнут тебя всего с головы до ног и придадут такой острый вкус к жизни, какой едва ли испытает тот, кто не ходит рядом со смертельной опасностью.

На высоте четырех километров мы надеваем кислородные маски. На высоте пяти я плотнее застегиваю комбинезон: холодно.

Темнеет. Земли не видно. Все та же мгла вокруг. Откуда ее принесло? Монотонно, усыпляюще гудят моторы. В памяти встают мирные полеты над песками и горами Средней Азии. Каракумы, Кызылкумы, отроги Тянь-Шаня, скалистые хребты Памира... Тогда у меня были совсем другие грузы: почта, пассажиры. Чабаны, инженеры-нефтяники, геологи, геодезисты, строители, врачи...

Впереди слева виден какой-то неясный силуэт. Осторожно приближаюсь к нему. Самолет нашего полка. На хвосте — синяя полоса и цифра «19». Гришанин. Пожилой, тихий, молчаливый летчик. Ветеран полка. У него уже перевалило за сто боевых вылетов, и мы, молодые летчики, смотрим на него с почтением. Редко кому удается перешагнуть такой рубеж.

Стрелок-радист, увидев нас, приветственно махнул рукой. Гришанин повернул к нам свое бледное лицо. Оно у него всегда бледное, а на этот раз, оттененное черным шлемофоном, кажется белым, как бумага. Некоторое время он смотрел на нас каким-то странным, отрешенным взором, в котором, как мне показалось тогда, выражалась необыкновенная усталость и тоска. Посмотрел, отвернулся, втянул голову **в** плечи и замер, глядя на приборную доску. Мне стало не по себе, и я поспешил отойти в сторону.

Вскоре стемнело совсем. Отчетливо засветились фосфорическим светом цифры и стрелки приборов, стал хорошо различим накалившийся глушитель левого мотора.

Сколько раз я видел этот глушитель! То он был ярко-красным, то розовым, то почти черным. Видел и... не придавал этой разнице цветов никакого значения. А тут мне словно кто в ухо шепнул: «Дурень ты, дурень! Зачем тебе газоанализатор, который врет? Ты ведь можешь хорошо отрегулировать смесь по глушителям. При нормальной смеси глушитель должен быть светло-красным. Вот и подгоняй его под цвет сектором воздуха».

В самом деле, как мне это прежде не приходило в голову? При богатой смеси, когда в карбюратор поступает мало воздуха, горючее, не успевая сгорать в цилиндрах, выбрасывается в глушители и, охлаждая их, придает им темную окраску. Проще простого!

Я нетерпеливо заерзал на сиденье. Черт побери, это уже было своего рода открытие! Волнуясь, осторожно сдвинул сектор подачи воздуха и поглядел на глушитель. Никаких изменений. Странно. Неужели я ошибся в выводах? И газоанализатор молчит. Сдвинул еще немного. Ага! Стрелка газоанализатора, показывавшего до этого крайне обедненную смесь, дрогнула и поползла к смеси богатой. Так. Хоть наоборот, да показывает. А глушитель?

Я смотрю на него минут пять. Наконец-то! Черное, чуть светившееся до этого колено трубы, уходящей под крыло, начало покрываться светлыми пятнами. Еще минут пять, и глушитель приобрел ровный темно-вишневый цвет.

Так. Хорошо. Чудесно! Уже смелее передвигаю сектор еще немного вперед. Нужно довести глушитель до светло-красного цвета.

Глушитель правого мотора мне не виден. Не беда. Зато он виден штурману. Я попрошу его помочь мне.

Через два часа полета мы изменили курс. Нас все время обдавало сыростью, и тогда вокруг раскаленных глушителей начинал светиться грязновато-красный ореол. Мы шли среди рваных облаков.

Вскоре под нами обозначилась линия фронта. Пожары, пожары и огненные швы пулеметных трасс и летящих снарядов. Что-то вспыхивало, взрывалось, летели искры, и к самым облакам вздымались мрачные столбы дыма. Внизу шли кровопролитные бои.

На несколько секунд мой взгляд остановился на бомбардировщике, летящем впереди. Четкий силуэт его был ясно виден на фоне освещенных облаков. А снизу, справа, силуэт поменьше. Истребитель! В тот же миг стремительные огненные язычки лизнули борт бомбардировщика. И его не стало... Он испарился в адском взрыве собственных бомб. А потом все исчезло.

Наш самолет вошел в облака.

Мы молчали. Все было ясно и так: Гришанин...

Вынырнули из облаков через десять минут. Осмотрелись. Тихо. Совершенно темно.

Спрашиваю у Евсева:

— Сколько лететь?

— Сорок пять минут.

И все. Опять молчим. Бледное лицо Гришанина стоит передо мной. И радист приветливо машет рукой. Штурман... Кто у Гришанина штурманом? Ах да, Ципляков! Высокий такой. Балагур и гитарист. А воздушный стрелок вроде нашего Китнюка — круглый, как колобок. Нет их. Были — и нет. Ушли в ничто. Мгновенно. Может быть, даже и не успев узнать об этом...

А вот и цель. Впереди, слева. Прожектора, зенитки, вспышки рвущихся бомб. Все как надо...

Отбомбились. отошли от цели. Взяли курс. Вошли в облака. Штурман закурил папиросу. Я не курю, но душистый дымок табака мне приятен.

Словно сидишь у кого в гостях за мирным домашним столом. Ровно гудят моторы. Мерцают приборы. Пахнут влагой облака.

Высота шесть тысяч метров. Холодно. Время от времени я поглядываю на глушитель. Ровный, приятный розовый цвет. Такой же и у правого мотора. Интересно, даст ли нам ощутимую экономию горючего это новшество?

Наверное, мы уже прошли линию фронта. Но штурман молчит и не просит, чтобы я вышел из облаков для уточнения маршрута. Что ж, ему видней.

Прошло еще минут пятнадцать. Начинаю беспокоиться. Вроде бы пора и курс менять.

Включаю переговорное устройство:

— Николай Гаврилович, ты не спишь? Наверное, пора и курс менять?

— Через восемь минут.

— Снижаться будем?

— Обязательно.

— Тогда пошли?

— Пошли!

Снижаемся. Пять тысяч метров. Четыре. Три!.. Мы вырвались из облаков.

— Ого! Что это — линия фронта?

Это мы выкрикнули чуть ли не хором. Под нами изломанные полосы пожаров, столбы дыма и нервно шарящие по облакам метелки прожекторных лучей.

Штурман в растерянности:

— Что за ч-черт?

А у меня в глазах силуэт самолета и яркая вспышка... Опять нарвались на то же место.

Синий луч коснулся крыла. Рядом глухо хлопнул крупнокалиберный снаряд.

Мы ушли в облака, растерянные, обескураженные. Что за чертовщина?! Судя по времени, линия фронта должна быть далеко позади...

Молча осмысливаем положение. Мне слышно, как вздыхает штурман, взваливая на себя всю ответственность за эту странную историю: потерял ориентировку, факт!

Стрелка индикатора радиополукомпаса, укоризненно кивая мне со своего циферблата, утверждает, что мы уклонились влево.

Евсеев взрывается:

— Черт бы побрал этот РПК! — Щелкает выключателем. — Держи прежний курс. Будем идти еще двадцать минут.

Двадцать минут — это сто километров. Ничего не понимаю. Как это случилось? Шли, шли и, пожалуйста, пришли!

Облака кончились. Над нами звездное небо. На земле — ни огонька.

Держу курс. До боли в глазах всматриваюсь в местность. Леса, овраги, поля. Какая-то река, железная дорога, шоссе...

У меня за голенищем карта. Развернуть бы ее, посмотреть. Но тогда нужно включить в кабине свет, а это, во-первых, опасно: можно привлечь внимание истребителей, а во-вторых, я все равно ничего не разберу: меня ослепит, и ночь за бортом станет для меня словно политая тушью.

Томительно проходит двадцать минут. Судя по маршруту, на месте излома курса должна быть река, железная дорога и город. Но под нами ровная местность с жидкими перелесками и маленькими хуторками. Где мы?

Штурман досадливо кашляет и дает мне новый курс. Теперь мы будем идти на северо-запад. Линия фронта слева. Это все, что мы пока знаем. Мало! Слишком мало или почти ничего, если учесть, что у нас в баках осталось горючего на три часа, то есть как раз столько, чтобы дотянуть до аэродрома. Ч-ерт!..

Я уже принял все меры для строжайшей экономии горючего. Сбавил обороты моторам, снизил скорость. Сейчас нам важно не дальше пролететь, а дольше продержаться в воздухе. Прикидываю в уме: может, хватит горючего, чтобы продержаться до рассвета! Нет, не хватит.

О том, чтобы выйти на свою базу, нечего и думать. Оставалось надеяться на случай, который заботливо подсунет нам какой-либо аэродром с ночным стартом. Мало ли их тут разбросано!

Евсеев сидит, курит. А кто будет сверять карту с местностью? Кто будет восстанавливать ориентировку?

Так вот у него всегда: замрет и философски отдается воле случая. Никак не могу понять: то ли у него «заклинивает» что-то в голове, и он теряет всякую способность рассуждать, то ли это я его избаловал, как он любит выражаться — «счастливой звездой». Спорить с ним в это время, ругаться — бесполезно.

В таких случаях я стараюсь говорить с ним ласково: «Коля, милый, сделай то-то». Коля делает, но не так, как надо.

Еле сдерживаю себя, чтобы не взорваться.

— Слушай, дорогой. Ну, развернул бы ты карту, расстелил бы ее на полу, тебе ведь удобно. Посмотрел бы внимательно, прикинул. Вон видишь — река под нами? Какие крутые берега! Ведь можно ее опознать. А вон железнодорожный мост...

В наушниках слышен подавленный смешок. Это Заяц хихикает над моим елейным голосом. И смех и грех!

— Справа впереди аэродром! — неожиданно провозглашает штурман. — Самолеты летают!

Меня коробит его победоносный тон. Будто это его заслуга, что впереди появился аэродром.

— Чему ты радуешься? — спрашиваю я. — Это что — наш аэродром?

— Нет, конечно, — беззаботно отвечает Евсеев, — но мы там сядем.

Садиться на чужой аэродром — удовольствие маленькое. Вряд ли нас там накормят, а уж спать-то наверняка придется сидя в кабине.

— «Сядем!» — ворчу я и тут же, к слову, ехидно замечаю: — А ты уверен, что это наш аэродром, а не фашистский? А может быть, мы сейчас болтаемся над территорией, занятой врагом, а?

Штурман явно обескуражен.

— Ну-у, тоже мне, скажешь... Ясно, наш.

В голосе его неуверенность. Он так сбит с толку этим ночным приключением, что может сейчас поверить чему угодно.

На высоте тысячи метров подходим к аэродрому. Светится ночной старт, но какой-то странный. По кругу ходят три самолета, четвертый взлетает. Аэродром явно тренировочный, и самолеты небольшие. Возможно, что нам и не сесть здесь. Надо посмотреть, не то завалишься в конце пробега в овраг.

Договариваемся: я сделаю предварительный заход на посадку, и, когда мы будем проходить низко над землей, Заяц пустит вверх осветительную ракету. Мы увидим, какие стоят самолеты. Если большие или истребители, значит, можно садиться.

Снижаюсь. Включаю бортовые огни, захожу на посадочную полосу. Мне видны силуэты приаэродромных построек и стоящих в ряд самолетов. Все они мчатся на нас со скоростью свыше двухсот километров. Успеем ли мы разглядеть?

— Заяц, давай! — кричит штурман.

В воздух взлетает ракета. Сначала мне виден только ее искрящийся след, а затем мертвенно-бледное, дрожащее зарево освещает окрестность. Бросаю взгляд вниз направо и... ох-х! — под нами проносятся пять или шесть зачехленных немецких транспортных самолетов «Ю-52»...

— Немецкие самолеты! — кричит Заяц.

— О-о-о! — стонет штурман.

Я резко даю обороты моторам, торопливо выключаю бортовые огни. У меня в голове мешанина. Кисель. Ничего не понимаю! Что же это — неужели мы в тылу у немцев?

Обычно, когда человек лишен возможности соображать сам, он обращается за помощью к инструкции. Я никогда не мнил себя их знатоком, а тут вдруг вспомнил:

«Если экипаж потерял ориентировку и не уверен в том, что он находится над своей территорией, командир самолета обязан взять курс на восток и лететь до полной выработки горючего, после чего выбраться на парашютах...»

Не особенно уверен в точной передаче текста, но главный смысл инструкции именно такой: «Экипажу выбраться на парашютах».

Соображаю: горючего в баках еще на два часа. Это значит: мы сможем пролететь почти шестьсот километров. Прикидываю по памяти на карте: допустим, что линия фронта не слева от нас, как мы думали,

а справа, ну, от силы в пятнадцать — двадцати километрах (хотя это никак не укладывается в моем сознании). Тогда выходит, что наши моторы остановятся где-то... за Пензой! А если вдруг окажется, что мы уже сейчас болтаемся над Пензой (а это тоже не умещается у меня в голове: откуда же там немецкие самолеты?), тогда выходит, мы залетим аж чуть ли не под Урал. Уму непостижимо!

Фантазия рисует мне «веселую» картину: где-то в глубочайшем тылу, на Урале, грохает об землю самолет и с неба на «зонтиках» спускаются четыре «ангела». Конечно, нас хватают, как «шпионов-диверсантов». «Вы откуда? Кто вас послал? С каким заданием?» — «Да вот, понимаете, полетели мы бомбить фашистов...» — «Фашистов?! Так вы же не туда курс взяли, голубчики! Совсем в другую сторону. Фронт-то во-он где — на западе, а вы на восток ударились».

Потом, конечно, все выясняется, и нас отпускают с богом. Но стыд-то какой! Позор на всю страну!

От таких мыслей хочется взвыть по-собачьи. Сижу в полной растерянности, набираю высоту, машинально держу прежний курс — на северо-запад. Самолет охотно лезет вверх. Еще бы. Он стал на четыре тонны легче...

Справа на горизонте что-то светлеет. Будто пожар. Всматриваюсь — луна! Ну, теперь проще. Через четверть часа она поднимется и засветит так, что можно будет свободно восстановить ориентировку. Облегченно вздыхаю. К черту инструкцию!

И вот я уже почти счастлив. Много ли человеку нужно? Луну! Всего только одну луну! Горючее у нас еще есть, а значит, есть и время на распутывание этого странного узла событий сегодняшней ночи. Единственно, что меня еще тревожит — придется ведь все-таки доложить начальству о том, что мы заблудились. Последствия могут быть самые печальные: нас не допустят к подготовительным полетам на Берлин. А наши-то сейчас возвращаются домой. Садятся. Идут в столовую. А мы...

Щелчок в наушниках, и Заяц докладывает:

— Товарищ командир! С КП распоряжение: «Всем экипажам! Наша база подверглась нападению бомбардировщиков противника. Посадка запрещена. Идите на запасные аэродромы». Все!

Час от часу не легче. Впрочем... Впрочем... Черт возьми!

Радист словно угадывает мои мысли:

— Ну и везет же нам, товарищ командир! Кто теперь подумает, что мы заблудились.

В наушниках осторожное покашливание штурмана:

— Даю поправку, товарищ Заяц. Везет не вам, а лично мне. Так-то вот. Я олух царя небесного и признаюсь в этом во всеуслышание.

Мне радостно слышать повеселевший голос штурмана, но я обрываю его самобичевание:

— Перестань, чудило! Мы с тобой оба хороши и давай разделим эту историю по-братски. Если бы мы, летя в облаках, вместо поспеш-

ных решений сменили курс по расчету времени, было бы все это?

— Нет, конечно!

— Ну так вот, дорогой, разворачивай карту и прокладывай ориентировочно по времени этот наш разнесчастный маршрут.

Штурман долго копается с картой. Луна уже поднялась высоко, и ее отражение скачет внизу по каким-то болотам. Напрягаю память. Что-то знакомое. Озера, крутые извилины речек и сеть прямых каналов, какие я видел на торфоразработках. Невероятная догадка почти ослепляет меня. Не может быть! Придерживая левой рукой штурвал, правой вынимаю из-за голенища карту. Лист трепещет от воздушных струй. Сгибаю его, кладу на коленку. Вот так! И света включать не надо — все видно отлично.

Всматриваюсь вниз. Слева неожиданно появляется отрезок железной дороги. Один конец ее, загнувшись к западу, упирается в озеро, другой, нашим курсом, уходит вперед. Справа — тоже озеро и река.

Лихорадочно шарю глазами по карте. Не выдерживаю, включаю освещение кабины. Так. Все ясно! Выключаю свет, сворачиваю карту. Если минут через пять наткнемся на перекресток железных дорог, значит, мы в районе города Гусь-Хрустального. Ничего себе — «отклонись». Почти на триста километров!

Через пять минут появляется перекресток. Точно! Гусь-Хрустальный.

Штурман тоже определил наше местонахождение. Это видно по его сокрушенным вздохам:

— Ах, черт возьми! Надо же так!

Спрашиваю:

— Что там у тебя?

Отвечает не очень-то весело:

— Понимаешь, под нами-то Гусь-Хрустальный! Вон куда занесло!

Через десять минут мы приземляемся на запасном аэродроме. Здесь уже десятка полтора самолетов нашего полка. Подруливаем, выключаем моторы. Все спят, и нас никто не встречает. И не надо. Нам чертовски радостно и так.

Мы проболтались в воздухе девять с половиной часов. В мирное время нам с Евсеевым преподнесли бы по лавровому венку с лентой, потому что мы побили мировой рекорд по дальности полета на данном классе самолетов. Но, разумеется, из-за вполне понятной скромности мы ни перед кем не стали хвастаться своими достижениями. Мы обсудили их тихо, с глазу на глаз.

— Что же все-таки с нами произошло? — спросил я. — Как это мы так с тобой?

Евсеев почесал макушку.

— Не говори! Вспоминать тошно. Вот, смотри. — Он развернул карту. — Возвращаясь от цели, мы из-за сильного попутного ветра промахнули точку разворота и вышли на эту вот узловую станцию, кото-

рую бомбили немцы. Нас приняли за фашистов и обстреляли. Мы, подумав, что это линия фронта, снова ушли в облака и вышли во-от сюда, аж за Пензу... Там мы увидели трофейные «юнкерсы» и...

Я закрыл карту.

— Ладно, Коля, не продолжай. Все ясно. Мы с тобой... плохо думали.

— И то верно, — согласился штурман. — Особенно я.

Хороший мужик этот Евсеев!

А мировой рекорд по дальности полета был все-таки нами побит!

ОНИ НЕ ПРОЙДУТ! МЫ ПРОЙДЕМ!

Мы опять лежим под крылом самолета все на том же полевом аэродроме, и трава по-прежнему высокая и густая, но теперь она звенит сухим осенним звоном. На лугу все те же кони с мочальными хвостами, все те же копны сена. Ни дать ни взять колхозное поле с сенокосными угодьями.

Все правильно, все по уставу, но деревянных коней я убрал бы. Именно они своей неподвижностью и могут привлечь внимание летчиков-разведчиков. А немцы нас ищут. Они обескуражены. Такая дерзость — бомбить Берлин как раз в то время, когда министр пропаганды Геббельс раззвонил по всему свету, что у русских почти нет самолетов, бомб не хватает, летчиков нет, бензина нет! Русские задыхаются, русским конец. Арийцы, держитесь! Еще немного. Еще совсем-совсем немного! Уже победа близка. Хайль!

А самолеты летят, летят, как из прорвы. Сыплются бомбы. Сотнями тонн рвутся в глубоком немецком тылу — в Восточной Пруссии, в Центральной Германии! И советский радиодиктор Юрий Левитан, которого Гитлер посулил повесить, как только немецкий сапог ступит в Москву, торжественно вещает всему миру: «Большая группа наших самолетов бомбардировала военно-промышленные объекты Берлина, Кенигсберга, Данцига, Штеттина...»

Мы, летчики, все, кто в данный момент находился в части, собирались возле репродуктора и слушали в строгом молчании. Да, это о нас, о нашей работе, о наших делах. Мы понимали: сейчас это сообщение Совинформбюро слушает вся страна. Слушают женщины-работницы, недавние домохозяйки, с потемневшими от металла пальцами и почти такими же от недоедания и недосыпания лицами, заменившие у станков мужей, готовящие оружие и боеприпасы для фронта. Колхозницы, одни в обезлюдевших деревнях кормящие армию и город, сами впрягающиеся в плуги, чтобы пахать землю, потому что лошадей почти не

стало. Они слушали эту сводку, и на душе у них становилось легче: значит, не только фашисты бомбят нас, но и наши тоже дают... И пехотинцам, артиллеристам, саперам — всем родам наземных войск, испытывавших на себе удары «юнкерсов» и «мессершмиттов», им тоже становилось веселее, и крепла вера в нашу конечную победу. Да и у самих летчиков АДД — авиации дальнего действия — распрямлялись плечи: нет, ничто не проходит бесследно, и наши жертвы тоже. Пусть не спят по ночам и трясутся от страха немецкие бюргеры. Пусть их гансы и фрицы на передовой получают из дома тревожные вести. Пусть! Мы будем еще сильнее бомбить их заводы, мосты, железнодорожные эшелоны, сеять панику в их тылу. Мы знали: бомбовые налеты нашей авиации в глубокие тылы противника производили на врагов подавляющее впечатление. Авиации у русских нет, а бомбы сыплются — и с бомбами листовки.

«И откуда они летают? — гадали фашисты. — Из-под Москвы — далеко, не хватит горючего. Может быть, из какой-нибудь нейтральной страны?»

И тут их осенила «догадка»: русские делают «челночные» рейды! Взлетают от линии фронта, летят на Берлин, бомбят, садятся в Англии. Там заправляются, подвешивают бомбы и возвращаются домой. По пути бомбят Берлин. Так, и только так!

Сегодня у нас третий налет на фашистское логово. Позади опыт: Кенигсберг, Данциг, Берлин, Будапешт. Мысленно ворошу в памяти предыдущие рейды. Может быть, что сделано не так? Нет, все как будто правильно. Найденный нами способ экономии горючего оправдал себя с лихвой. Мы возвращались на свой аэродром с таким остатком горючего в баках, что его хватило бы еще часа на два.

Солнце склонялось к западу. В синем небе там и сям висели облачка. Крутобокие, тугие, ослепительно белые. Мне не нравились эти лицемерно-мирные облака, ползущие с запада. Значит, там, над Балтикой, собирается гроза. Ничего хорошего.

Я взглянул на часы. До вылета оставалось сорок минут.

Зашуршала трава под чьими-то шагами, затрещали кусты, и перед нами появился стрелок. Круглое розовое лицо его светилось детской радостью.

— Товарищ командир, смотрите! — И он протянул мне горсть красных ягод.

— Малина?! Где набрал?

— А тут, недалеко. Там ее полно.

Мы разом поднялись:

— Показывай, Китнюк, где этот рай.

По кустам уже ходили ребята из других экипажей. Нагибались, присаживались, обрывали ягоды, клали в рот и замирали в блаженстве.

Мы продрались сквозь терновник на просторную полянку, сплошь заросшую малиной, и остановились. Лес, шуршание травы и кустов, за-

пах прелых листьев, шляпки грибов из-под них, ведь это же — олицетворение жизни и мира, а мы...

Подавляя в себе невесть откуда взявшееся чувство беспокойства, я наклонился и приподнял прикившие к земле кусты малины. Рубиновые капли не тронули меня, как бывало в детстве, не наполнили сердце восторгом и радостью. Неужели я так огрубел? Равнодушно обобрал ягоды и ссыпал их в рот. Ну, душистая, сладкая, и что из этого?

Малины было много. Я собирал ее и ел горстями, все время бессознательно прислушиваясь к чему-то.

— Ишь, г-гад, летает, — проворчал Китнюк, набивая рот очередной порцией ягод.

И только тут мне стало понятно мое беспокойство, моя тревога: где-то над лесом гудел самолет, не наш, фашистский. Прислушался. «Рама»! Да вот и он сам. Кружится, ищет. Значит, нащупал. Если найдет, беда! Вызовет по радио пикировщиков, и наломают они нам дров! Самолетов полно — крылом к крылу. У каждого бензин «под завязку», бомбы. Стоит только задеть любой, и пойдут рваться один за другим...

— Ты что насторожился? — спросил Евсеев. — На «раму», что ли? Ерунда! Они тут давно летают. И в прошлые разы ходили, помнишь?

— Да? Ты думаешь? А помнишь, как они ходили прошлые разы? Спокойно, ровно. А сейчас... Видишь — разворачивается! Рыскает, как собака по следу.

— Лупануть бы его, г-гада, — сказал Китнюк, недовольно морща вздернутый нос. — Низко ходит, враз можно сбить.

— Стрелять нельзя, — возразил Заяц. — Демаскируешь аэродром. «Фокке-вульф» развернулся и, словно собака, почуявшая след, принялся рыскать по курсу.

— Похоже, что нашел, — почему-то шепотом произнес Евсеев.

— Все может быть, все может быть... — бормотал я, не отрывая взгляда от самолета. — Ага, спикировал! Взял курс на запад. Теперь уж точно обнаружил. Ну, братцы...

Решение пришло само собой: нужно бежать к самолету, готовить моторы к запуску. Должна, обязательно должна быть команда на взлет по тревоге.

— К самолету! — скомандовал я. — Быстро!

Мы ринулись сквозь терновник. Затрещали кусты, полетели клочья шерсти от унтов.

— Скорей!

Бежавший впереди меня Евсеев налетел на кого-то, споткнулся и, смешно взбрыкнув унтами, с ходу сунулся головой в малинник.

— Кто тут, кто тут? Фу ты, ч-черт, напугал!

Передо мной выросла высокая фигура летчика из третьей эскадрильи по фамилии Каланча.

— Что вы, ошалели? Куда вас черт несет?

У меня запалилось горло от бега. Не останавливаясь, я прохрипел:

— Запускать моторы. Нас обнаружил разведчик.

— А что, команда была? — прокричал мне вслед Каланча.

Я только махнул рукой. Неужели непонятно: «Нас обнаружил разведчик!»

Мы подбежали к самолету. Сидевшие группами летчики недоуменно посмотрели на нас — исцарапанных, запыхавшихся. А я-то думал, что здесь уже дана команда! Впрочем, дать-то ее в этих условиях трудно: телефона нет, самолеты распознались по опушкам на несколько километров. Пока от КП добежит связной...

— Вы что, будто за вами медведь гнался, — усмехнувшись, спросил у меня горбоносый летчик с лихим казацким чубом.

— Медведь не медведь, — несколько обескураженно пробормотал я, — но... нас обнаружил разведчик.

Чубатый насмешливо хмыкнул.

— Ну и что? Значит, панику разводить?

Я смутился вконец. Паника? А вдруг я ошибся и «фокке-вульф» вовсе не обнаружил нас. В таком случае мои действия можно расценивать именно как панику. А за панику, за ложную тревогу, да еще перед таким полетом, когда мы над целью лично докладываем Верховному Главнокомандующему, при такой ситуации можно запросто угодить в штрафной батальон.

Я окинул взглядом бесконечную цепочку «ИЛов».

А если я не ошибся? Если, скажем, на КП не обратили внимания на маневры «фокке-вульфа»? Так что же, ждать, пока прилетят пикировщики и начнут делать из нас винегрет?

— Как хотите, — сказал я. — Вас никто не принуждает, а приготовить моторы к вылету мне никто не запретит. — И подчеркнуто командным тоном отдал распоряжение: — Экипажу занять места! Техник, приготовиться к запуску!

Мгновенно сняты чехлы, откинута ветка. Я надел парашют и забрался в кабину.

В экипаже слева от нас забеспокоились. К нам подбежал моторист:

— А что, разве команда была?

— Нет, — ответил техник. — Хотим прогреть моторы. И вам рекомендуем.

— А зачем? — выпытывал дотошный моторист.

Техник что-то ответил, ткнув пальцем в небо, а затем покрутил им возле своего лба: «Соображать надо!» Моторист мотнул головой:

— Понял.

Покрутили винты, засосали в цилиндры смесь. Я облизнул пересохшие губы. «А, была не была!»

— От винто-ов!

Громко стрельнув, запустился мотор: правый, левый. Тщательно прогоняя их на всех режимах, я выключил зажигание. Теперь, при необходимости, мы можем взлететь сразу, без прогрева двигателей.

Самолет наш стоит носом на юг. За пологой выпуклостью поля, с которого уже убрали и деревянных коней и фальшивые копны, мне видна далекая опушка леса. Там КП и место старта. Если встать на крыло, то откроется широкий горизонт. Направо — пустынная желтизна лугов, болотистых и топких, прямо — лесные чащобы. Лишь оттуда, и только оттуда следует ждать врага. И разумеется, они пойдут крадучись, на брезвещем полете.

Приказав экипажу сидеть на местах, я вылез на крыло. Слева с шумом запустился мотор. Ага, все-таки здравый смысл победил! Справа, у другого самолета, техники прокручивали винты, и командир экипажа, горбоносый скептик с казацким чубом, стараясь не смотреть в мою сторону, копошился в кабине. По всей опушке забегали люди, пуская дымки, зашумели моторы.

Я взглянул на часы. До вылета осталось двадцать минут. Отводя глаза от циферблата, я боковым зрением заметил далеко на горизонте, над самой кромкой леса, какое-то неясное движение. Вскинул голову. Нет, показалось. Птица, наверное, или марево. Отвернулся, скосил глаза. Вот опять! Вгляделся внимательно — они! Летят пикировщики. Бреющим. Много, штук тридцать.

И в это время коварная мысль: «А может, это наши истребители или штурмовики? Ой, смотри, паря, не ошибись! По лезвию ходишь. Отсюда до штрафбата рукой подать...»

Но голос другой, твердый и уверенный: «Ошибки быть не может, это враг!»

Указывая пальцем, я завопил во всю мочь:

— Иду-у-ут! — и плюхнулся в кабину. — От винтов!

Моторы запустились сразу.

— Убрать колодки!

Подрулили. Скорей, скорей к старту!

Поле большое, неровное. Громко стучат стойки шасси. Мне жалко машину, но что поделаешь! Сзади уже выруливают другие. Тревога поднята, назад возврата нет.

Вот и старт. Из-за кустов с флажками в руках выбегает дежурный по полетам. Высокий, стройный. Вглядываюсь — наш командир Щербаков. Лицо его — сплошное недоумение. Подчеркнутым движением он задирает рукав гимнастерки и тычет пальцем в часы, затем красноречивым жестом крутит этим же пальцем у своего виска.

Было понятно без слов: «До вылета осталось восемнадцать минут, куда тебя черти несут, сумасшедший?»

Я приподнялся на сиденье. Пикировщики уже были хорошо видны. Злые осиные силуэты с раскоряченными шасси. Сомнений нет — «Ю-87».

Несмотря на трагичность положения, губы мои расплзаются в дурацкой улыбке. Протягиваю руку:

— Посмотрите назад!

Командир оборачивается, роняет флажки, хватается руками за голову. В следующее мгновение я вижу его побледневшее лицо. Быстро нагибается, подбирает флажки, торопливо машет:

— Давай! Давай! Давай!..

Взревели моторы. Машина, переваливаясь на неровностях, пошла на взлет. Моторы ревут на предельной мощности, а самолет бежит, бежит тяжело, нехотя. Подпрыгивает, падает. Жутко стучат шасси. Каждый удар отдается в сердце: вот-вот подломятся стойки... Ощущаю всем телом, как гаснет от прыжков с таким трудом набранная скорость. И снова бежит самолет. Только бы оторваться! Только бы оторваться!

Но он налетает на трамплин. Подпрыгивает, валится вниз. Скорость еще мала, крылья не держат его в воздухе. Я замираю в страшном напряжении: если сейчас колеса ударятся о землю, придется прекращать взлет. Но сзади наверняка взлетают другие, значит... катастрофа! Куча мала! Нельзя прекращать взлета. Надо взлететь, надо!.. Я делаю все, чтобы не дать машине опуститься, но она медленно-медленно сыплется вниз. Моторы воют, молотя по воздуху винтами — напрасно: мы падаем... Падение прекратилось возле самой земли. Самолет повис, словно в раздумье, и стал понемногу набирать скорость.

Я дернул на себя рычаг уборки шасси. Проклятый трамплин, был бы ты чуть-чуть позднее!

Минуты через две, придя в себя, я услышал в наушниках стон радиста:

— О-ох! О-ох! Товарищ командир, посмотрите, что сзади творится!

Я скренил машину и, повернувшись в кресле, заглянул назад. Пачками взлетали самолеты: по два, по три, по четыре, а между ними вскидывались вверх черные султаны земли. В воздухе роем носились пикировщики... Поздно, г-гады, поздно! Мы уже рассредоточились.

Взлететь раньше времени на восемнадцать минут — это значит очутиться засветло над территорией, занятой врагом. Хорошего мало! Но нас спасают грозные облака. Мы идем по коридорам между грозных клубящихся стен. Коридоры узкие, настоящие лабиринты! Иногда, огибая тучу, мы меняем курс на 90 градусов. Это мне не нравится: лишний расход бензина, а перед нами большой и тяжелый путь.

Идем на высоте пять километров. Внизу уже темно, а верхушки облаков, громоздящихся над нами, еще алеют под прощальными лучами солнца. Впереди встает темно-синяя стена тучи. Неприятно сжимается сердце: неужели мы попали в тупик, в ловушку?

Подлетаем ближе, кажется, нет. Кажется, ход разветвляется. Куда повернуть? Налево, где темнее, или направо, где светлее?

Решаю: поверну направо. Готовлюсь. Крепче сжимаю штурвал. Коридор узкий, надо не зевать, не то как раз влезешь в тучу. Она уже

рядом, дышит влагой и холодом. Пора! Отжимаю штурвал, ввожу машину в крутой разворот — и... вдруг вижу: прямо на нас, точно на нашей высоте, мчится пересекающим курсом немецкий самолет.

Сильно, пожалуй, слишком сильно, швыряю машину в крутое пике. Меня отрывает от сиденья, я повисаю на ремнях. Краем глаза вижу как штурман, нелепо раскинув руки и ноги, парит в невесомости под потолком своей кабины. Глаза выпучены, широко раскрытый рот хватается воздух...

Тяну штурвал на себя. В тот же миг от внезапно возросшей тяжести плюхаюсь на место. Штурман летит кувырком вдоль кабины, ударяется о пулемет и, возвращаясь обратно, застревает головой между креслом и кислородным прибором.

Все произошло в считанные секунды. Страх еще не успел прийти, а смертельная опасность уже миновала. Страх пришел, а его место уже заняла радость.

Впрочем, штурман моей радости не разделял. Он сидел по-турецки на полу кабины и потирал ладонью покрасневший лоб. Немецкий бомбардировщик так же внезапно исчез, как и появился. Мне кажется, он даже не заметил нас...

Где-то я читал такое изречение: «Ничто не появляется из ничего, ничто не исчезает бесследно». Для нас эта встреча также не прошла бесследно.

Штурман включил переговорное устройство и хмуро сказал:

— На голове — синяки и шишки, дома — пироги и пышки. Что делать будем, командир? Оборвана трубка кислородного прибора.

— Как — оборвана? — возмутился я. — Ты что, не проверил перед вылетом?

— Проверил. Вот видишь — отпечаток, — и показал шишку на лбу.

Я онемел от этой вести. Час от часу не легче. Кислородная трубка... Маленькая такая, тонкая и кривая. Она идет от баллона к кислородному прибору. Из-за нее, из-за этой паршивой трубки, возвращаться домой? После всех передрыг?! И с такого важного задания? Это невысказанно, невозможно, недопустимо!

Однако и лететь нельзя. Без кислорода — как? Евсеев надевает маску уже с четырех километров. А мы бомбим с семи.

Мда-а-а... Впрочем, разве обязательно с семи? Можно и ниже. Ну, с пяти, например. Нет, с пяти нельзя. Над городом висят аэростаты воздушного заграждения. Как раз на этой высоте. Что же делать?

Перебираю в уме все возможные варианты. У штурмана свой баллон, у меня свой. В крайнем случае можно дышать, приставив шланг прямо к оборванной трубке. Правда, в баллоне высокое давление — сто пятьдесят атмосфер, но можно открыть чуть-чуть...

Нет, не пойдет. Будет очень большой расход кислорода, а его нужно беречь на обратный путь. Ведь нам нужен попутный ветер.

«На обратный путь... На обратный путь...»

Ну конечно же, на обратный путь! До цели мы дойдем на высоте пяти тысяч метров. Затем наберем еще с полтысячи и отбомбимся. Когда возьмем обратный курс, штурман откроет баллон. Только тогда, и не раньше!

Сообщаю штурману свои соображения. Евсеев слабо возражает:

— Не выдержу.

— Выдержишь. Ничего с тобой не случится. Ишь разбаловался — на четырех тысячах маску надевать!

— По инструкции же...

— Ладно, помалкивай. Я надеваю с пяти.

— То ты... — И тут же соглашается: — Ладно, пошли, это я так,

Мы уже давно вышли из окружения облаков. Над нами звезды. Другие миры. И если там живут разумные существа, они, конечно, не знают, что такое война. Забыли, пройдя этот мучительный путь эволюции. Мне хочется верить в это. Очень! А мы вот тут несем вахту мира... через войну.

Время от времени спрашиваю у Китнюка, что он делает, как поживает. Не вздремнул ли случайно. Для стрелка вздремнуть — плевое дело. Велик соблазн. Весь полет он лежит на броневой плите возле пулемета. И конечно, веки смеживаются сами. А смотреть надо в оба. Фашистские ночные перехватчики уже оснащены радиолокаторами. Попадешь такому на экран — пиши пропало! Подкрадется, даже если ты будешь идти в облаках, — расстреляет в упор из пушек.

Евсеев величает Китнюка начальником пассивной обороны и министром пропаганды одновременно. В его обязанности входит время от времени брать приготовленные заранее, связанные в пачки тридцатисантиметровые полосы фольги и, разрезав тесемки, бросать за борт. Тонкая фольга, разлетаясь облаком, создает большой металлический экран. Пусть гоняется перехватчик-фашист за призрачными самолетами!

А над целью Китнюк бросает листовки. Чтобы знали фашистские бюргеры: расплата придет! А сейчас:

— Эй, не дремать на посту, не дремать!

Моторы гудят свою старую песню: «Ровно-ровно-ровно-ровно...» Мерцают фосфорическим светом приборы. Чуть подрагивают стрелки. Они тоже на посту: следят, докладывают. Это мои друзья. Их несколько десятков: большие, маленькие, неподвижные и нервные. Всякие. И все они нужны. Через них я знаю, что творится в недрах моторов. И если стрелки, дрогнув, сообщат мне тревожные данные, я не буду выдавливать каблуком сапога циферблаты приборов. При чем здесь прибор?

Я ненавижу лишь один прибор — газоанализатор. На него нельзя положиться. Он всегда говорит неправду, приукрашивает действительность. Мотор задыхается от бедной смеси, а газоанализатор докладывает, что все хорошо и всего достаточно. Мотор захлебывается от избытка горячего, а прибор говорит: «Все идет отлично! Так и надо, в самый раз...»

Сейчас газоанализаторы молчат. Вчера, перед вылетом, я приказал технику выключить их. Обхожусь. Смотрю на глушитель и подбираю нужный цвет. Так оно лучше. Надежней. Не люблю дезинформаторов.

Штурман в своей кабине пытается закурить. Я это слышу по запаху серы.

— Черт побери совсем! — раздраженно ворчит Евсеев. — Спички какие пошли — воняют, а не горят.

— Голова! — отвечаю ему. — Спички — народ несознательный. Они не загораются от величия цели. Ты меня понял?

— Н-нет, — признается Евсеев. — Не пойму, что им надо?

— Кислороду.

— Тьфу ты, ч-черт! — ругается Евсеев. — Действительно, голова! — И, придвинувшись к баллону, закуривает, чуть-чуть приоткрыв вентиль.

Потом он затихает. Копошится с картой, ложится на пол, прижимается лбом к плексигласу своего фонаря и долго смотрит на землю.

Я уже знаю, сейчас он скажет громким голосом: «Пересекаем границу Восточной Пруссии!»

Его волнение передается мне. Я тоже, как и он, ощущаю, будто летим мы сейчас не над землей, а над бездонной пропастью.

Нет, здесь уже не спустишься на парашюте, если откажут моторы или собьют истребители. Здесь советских партизан не найдешь.

Далеко справа видно, как наши бомбят Кенигсберг. Это запасная цель для тех, кто по разным причинам не может дойти до Берлина. У кого неладно с мотором, у кого не хватает горючего, а у кого и выдержки — всякие бывают причины. Летчик больше, чем кто-либо другой, зависит от случайности. Летит, летит, уже пять часов, а вон еще только Кенигсберг появляется. Из-за встречного ветра машина еле ползет. Двести тридцать километров в час путевая скорость. Пять часов, да еще до Берлина почти три — итого восемь. Да обратно лететь столько же. А ветер! Ветер может стихнуть или повернуть, кто его знает. Разве можно надеяться? Нет, вернее на Кенигсберг. Сворачивают, идут на Кенигсберг.

Летим дальше. Молчим, не разговариваем, думаем каждый о своем. Перебираем в памяти прошедшее. О будущем мы не мечтаем. Не положено. Рано. Война еще не кончилась.

Томительно, очень томительно ползут минуты последнего часа. Наконец штурман завозился в своей кабине. Сейчас он включит переговорное устройство, прокашляется и скажет: «До цели осталось тридцать минут. Приготовиться к пряникам!» Пряники — это разрывы зенитных снарядов.

Потом, когда даже в темноте уже будет видна распластанная громада города, Евсеев начнет пыхтеть, стонать и, наконец, признается, что у него... «нет спасу», как болит живот. Так бывало с ним уже два раза при полетах на Берлин.

Наш полковой доктор говорит, что это психологический эффект и что ему подвержены многие. Тогда я приказал технику класть штурману перед полетом оцинкованную коробку из-под патронов. С крышкой.

Щелкнуло в наушниках. Евсеев прокашлялся и сказал:

— До цели осталось тридцать минут. Приготовиться к пряникам!

— Ладно, слышал, старо. Ты вот лучше о себе скажи.

— Н-не знаю... Пока не болит.

Я поставил машину в набор высоты. Вглядываюсь вперед. Сегодня над целью необычная тишина. Ни прожекторов, ни разрывов снарядов. Оно и понятно: самолеты еще не пришли, и мы будем первыми. И наш доклад Верховному Главнокомандующему будет первым. Радист нажмет на ключ, подаст в эфир позывные нашего экипажа: «Москва, Кремль... Задание выполнено!»

Уже ощущается близость большого города. Если приглядеться, можно различить переплетение шоссе и железных дорог, каменные глыбы городишек. Дороги все гуще, гуще, и городишки все чаще, чаще. И вот он, Берлин! От непривычной тишины становится как-то не по себе. Почему не стреляют?

— О-ох! — стонет штурман и торопливо снимает парашют.

— Ты что?! — кричу я. — Цель почти под нами!..

— О-ох, не могу, нет никакого терпения...

Ну что ты с ним поделаешь! Открываю обе форточки и, ловя лицом холодные струи забортного воздуха, замираю:

— Ладно уж!

Мы над окраиной города. Не стреляют. Тихо, темно.

— Бросаю! — кричит штурман.

Я вздрагиваю от неожиданности.

— Что бросаешь?! Люки-то не открыты!

— Сюрприз!.. Обвязал проволокой.

— Тьфу ты, черт тебя подери!..

В наушниках смех стрелка и радиста.

— Товарищ командир, готовлю листовки!

— Правильно, Китнюк, молодец!

Потянуло сквозняком. Штурман открыл бомболюки.

Под нами мелькает округлая тень. Что это? Ах да, я и забыл: аэростаты воздушного заграждения!

Город как паук в паучьей сети. Притаился, замер. Мы почти над самым центром. Не стреляют. Наверное, принимают за своих. Штурман нажимает на кнопку.

— Залп!

В тот же миг мне в лицо брызжет ослепительным светом. Я прячусь за борт, тщетно — мы в лучах прожекторов. Слепит глаза. Я едва различаю приборы. Рядом лопается снаряд. Другой, третий! И вот уже вокруг нас беснуется огонь.

Вдавив голову в плечи, я делаю левый разворот. Он длится вечность, а я сижу, скованный тупым тяжелым страхом, порожденным беспомощностью. Что я могу поделать, если скорость самолета не превышает 250 километров в час и если нам нельзя уйти от прожекторов и зенитного огня обычным пикированием: ведь под нами аэростаты! Мы висим в грохочущем пространстве, оглушенные и ослепленные, и ждем, куда кривая выведет...

Что-то сзади мягко толкает меня в затылок. И все кончается. Разом. Будто я, хлопнув дверью, вышел из шумного зала, наполненного грохотом машин. Вышел — и растворился. Меня нет. Я — это нечто необъяснимое, большое. Я — восторг, любовь и счастье. Я невесом. Я — розовый свет, розовый звон. Отлично вижу, что этот звон — розовый, чуть фиолетовый по краям. Смотрю на эти перемежающиеся фиолетовые края, что-то силюсь понять — и не могу.

Восторженность исчезла. Вместо нее я ощущаю какое-то смутное беспокойство, смешанное с болью. Боль безграничная, объемная, пространственная. Она во мне и вне меня. Вязкая, нестерпимая. И звук тоже нестерпимый, нарастающий, тревожный. Все громче, громче.

Боль, звук, свет, острое беспокойство, сойдясь в кошмарном сплетении, сдавили меня, словно тисками. Яркая вспышка в тысячу солнц — и... темнота. И боль. И вой. Будто кто-то снова открыл дверь в шумный зал, где, выматывая душу, надсадно воют машины.

Некоторое время, превозмогая боль, тупо смотрю на какой-то предмет, расплывчатый и неясный, пока до меня не доходит, что воют наши моторы, а я, уткнувшись лбом в приборную доску, разглядываю колонку штурвала.

Бессознательным, заученным движением пальцев уменьшаю обороты моторам. Вой прекратился, осталась боль. Теперь ее границы определяются уже точно — разламывается голова. Я сделал судорожный глоток, в ушах хлопнуло, и боль исчезла.

Некоторое время, может быть долю секунды, нахожусь в безмятежном блаженстве — тихо, боли нет, какое наслаждение! И в тот же миг сознания коснулся смертельный холодок. Это еще не был страх, он еще не пришел. Мой мозг был занят анализом событий: где я, что со мной?

Обеими руками, почти не прилагая усилий, я легко оттолкнулся от приборной доски и повис на ремнях в невесомости. И тут я понял: мы падаем!

И страх ворвался. Он пронзил меня с головы до пят: «Давно ли мы падаем?! Какая высота?!»

Молниеносный ищущий взгляд на приборную доску: где?! Где указатель высоты и скорости?..

Десятки приборов. Мерцающее месиво из стрелок и цифр. Разберись тут!..

«Время!.. Уходит время! Черт с ней, со скоростью и высотой! Надо скорее выводить самолет из пикирования! Рвануть штурвал на себя...

Мысли, противоречивые, несвязные, стараясь опередить в невероятном беге время, насакивали друг на друга, как бильярдные шары, и разлетались в стороны:

«Скорей! Скорей!!»

«Нет, торопиться, рвать штурвалом нельзя! Тяжелая машина дала разгон. Мы в отвесном пикировании. Самолет при резком выводе разрушится от перегрузки».

«Земля! Где земля? Далеко ли? Близо ли? Скорей, скорей, уходит время!»

«Нельзя скорей, надо медленней... Развалится машина...»

О, голос разума! Как ненавижу я его в эти мгновения! Нельзя скорее — самолет развалится; нельзя медленней — можно врезаться в землю...

«Пропади ты пропадом! К черту разум! Может быть, все обойдется и самолет не развалится? Я хочу жить...»

«Ты хочешь жить в плену? — Это голос разума. Холодный, жесткий голос. — Ты хочешь, чтобы враг торжествовал?»

«Пле-е-ен?! — Я внутренне содрогнулся от ужаса. — Нет, лучше смерть!»

«Так говорят только трусы. Мужественные борются!»

«Трус?! Ладно. Конечно, я боюсь плена, я не хочу, чтобы враг торжествовал, и поэтому буду бороться!»

Обеими руками вцепился в штурвал и потянул на себя: руль подался легко, словно плоскости его находились в безвоздушном пространстве.

«Все! Конец... Перебиты тросы... Надо прыгать...»

«Прыгать?! Куда, в плен?..»

Опять этот разум! Вспоминаю: заложил ли я девятый патрон «для себя» в ствол пистолета? Да, заложил.

«Тогда зачем же прыгать?»

Разум смеется надо мной. Он ловит меня на наивной хитрости, он уличает меня в нерешительности.

В бессильной ярости толкаю штурвал от себя и вдруг замечаю, что он живой! Дрожит чуть-чуть под слабыми ударами воздушных струй. Значит, целы тросы! Значит, аэродинамическая тень...

Рву штурвал на себя. Опять от себя.

Страх отодвинулся: я занят. Весь интерес моей жизни сейчас заключен только в том, чтобы зацепить рулем высоты побольше воздуха. Ага, наконец-то! Я торжествую. Самолет задрожал, застонал, руки налились упругостью.

Теперь надо тянуть штурвал на себя. Медленно-медленно. В груди холодный комок. Это страх. Он твердит свое: «Скорей! Скорей! Близо земля!»

«Медленной, медленной! — возражает разум. — Развалится самолет. Плен...»

Плен — это страшнее смерти. Весь холодея в ожидании удара о землю, миллиметровым движением тяну на себя упруго дрожащий штурвал. На плечи наваливается тяжесть. Все больше и больше. Штурвал вот-вот вырвется из рук. Держу. Продолжаю тянуть. В глазах — красная пелена. Голова, словно налитая свинцом, склоняется на грудь... Секунда, другая, третья... Я задыхаюсь. Вот-вот удар.

И вдруг разом — облегчение, невесомость. Вышли!

Широким движением отдаю от себя штурвал и передвигаю вперед секторы управления газом. Всхлипнув, заурчали моторы. Бросаю взгляд на прибор. Триста метров!

Я весь обмяк. В душе сумятица: радостное недоумение, горделивое чувство победы (что — взяли?) — все вперемешку. С минуту сижу бездеятельно. Прихожу в себя. С приборной доски мне тускло подмигивают зелеными кошачьими глазами мои друзья-приборы. Мигают звезды над головой. Ветром щечочет ресницы. С трудом доходит до сознания: нет фонаря кабины. Очевидно, снесло взрывной волной. Снимаю с лица кислородную маску, оглядываюсь назад. Прожектора, зенитки, вспышки рвущихся бомб. Все это уже далеко, и все это пройденный этап. Впереди большой, трудный путь, и кто знает, удастся ли его благополучно завершить. А пока нужно действовать. И еще: надо узнать, что с экипажем.

Ставлю курс, включаю ларингофоны. Тишина. Даже треска не слышно. Та-а-ак. Значит, вышло из строя переговорное устройство. Нажимаю на сигнальную кнопку пневмопочты. Та же история. Красная лампочка не загорается: нет тока, очевидно, разбит генератор.

Достаю из кармана листок бумажки и карандаш. Под блеклым светом приборов пишу крупными буквами: «Как дела?», ставлю большой вопросительный знак. Вынимаю из зажимов патрон пневмопочты, закладываю в него записку и нажимом рычага отправляю патрон в хвостовой отсек, к радисту и стрелку. Затем резким движением педалей ногожного управления трижды качаю самолет, вправо-влево.

Моих ног касается рука. Это Евсеев дотянулся из своей кабины, тормошит, дергает за унты и, сжав кулак, выставляет вверх большой палец. Та-ак, ясно: штурман жив и здоров, чувствует себя «на большой».

С минуту выжидаю и, ощутив слабые толчки в педалях (это из задней кабины дергают за трос управления), лезу пальцем в приемник пневмопочты. В патроне записка: «Полный порядок!»

Облегченно вздыхаю. Чувствую себя чертовски счастливым. Задание выполнено, экипаж цел, моторы крутятся, чего еще надо? Шепчу, как молитву, лозунг испанских антифашистов: «Но пасаран! Но пасаран!» — «Они не пройдут! Они не пройдут!», «Пасаремос!» — «Мы пройдем!»

А почему бы нет? Советские люди умеют совершать невозможное. Разве ждали нас фашисты в Берлине? Нет, не ждали. А мы пришли!

Еще в начале войны, когда самолеты Балтийского флота совершали налет на фашистское логово, командир полка бомбардировщиков Герой Советского Союза Е. Н. Преображенский рассказывал, как, выполнив задание, летчики возвращались домой буквально с несколькими килограммами горящего в баках. Это тогда, с острова Сарема. А сейчас мы на этих же машинах летаем из-под самой Москвы, и путь наш удлинился чуть ли не вдвое!

Нет. Они не пройдут. Они не пройдут! Мы пройдем!

Набираем высоту. Самолет легкий, идет вверх хорошо. В воздухе спокойно. Мерцают звезды. Впереди по курсу ярко блестит Сатурн. Чтобы не таращиться на компас, держусь Сатурна.

На высоте пяти тысяч метров надеваю маску. Морщась от боли в раковинах ушей, расправляю резинки, охватывающие голову. Тяжелый шлемофон с наушниками, придавив уши, нарушил кровообращение. Боль несусветная. Привычно терплю.

Высота семь тысяч восемьсот метров. Меня обдувает ледяным ветром. Мерзну. Терплю и это неудобство. Меня согревает сознание, что с каждым оборотом винтов мы ближе и ближе подходим к линии фронта, а там — конец опасностям и — дом!

Начинает светать. Серееет небо, тускнеют звезды. Сатурн поднялся высоко, переместился вправо и сейчас одобрительно мигает мне со своей верхотуры. Гудят моторы. Клонит ко сну. Сильно клонит. Я засыпаю мгновенно. Голова падает на грудь. Самолет клюет носом. Тревожно гвакают моторы. Я просыпаюсь, вздрагиваю, тарашу глаза, выравниваю машину, и все начинается сначала. Это же пытка!

Чтобы отвлечься, достаю из кармана шоколадку «кола», отламываю добрый кусочек и кладу за щеку. Тарашу глаза, стараясь разглядеть, что там нас ожидает впереди. Небо на востоке окрашивается в грязно-фиолетовый цвет. Неожиданно различаю чуть розовеющие кромки кучевых облаков. Облака высокие — не перешагнуть, и нижняя кромка — наверняка метров на триста — четыреста. Что же делать? Снизаться? Нельзя. Сейчас высота для нас — гарантия. Приборы не работают. Я не знаю, сколько в баках горючего. И еще, в любую минуту может отказать мотор, один или другой. Очень сомнительно, чтобы после такой передраги они не были бы повреждены. Нет, снижаться нельзя!

Сон как рукой сняло. Я снова в борьбе. Все мои помыслы сейчас — как можно больше набрать высоты. Борюсь за каждый метр.

Облака ближе. Громоздятся, вздымаются. Беспокойно ерзаю на сиденье, ищу лазейку между тучами. Вверху, под робкими лучами восходящего солнца, они белые, как снег, а внизу синие-синие.

После некоторого раздумья решаю: если не найду прохода, пойду напролом. Другого выхода нет. Набираю высоту по крошечке, по сан-

тиметру. На приборе — девять тысяч метров. Так высоко мы никогда не забирались. Как-то там штурман?

Наклоняюсь, смотрю через прорезь приборной доски. Евсеев лежит на полу, держит шланг маски возле штуцера кислородного баллона, дышит. Встретился со мной взглядом, ободряюще мигнул.

Мороз дает себя знать. Облака уже рядом. Мчатся на нас, обдают холодом. Нужно входить. Нет, боюсь. Зачем лезть на рожон? Отворачиваю вправо, иду рядом с крутобокой тучей. Ага, коридор! Была не была! Круто разворачиваюсь и ныряю в узкую мрачную щель. Машина вздрагивает. Мимо проносятся стены фантастических замков. Коридор сворачивает налево, затем направо и вдруг теряется в серой лохматой облачности. Черт возьми, вот это удача! В следующее мгновение мы влетаем в мокрую вату спокойных высокослоистых облаков. Тихо, хорошо. Идет снег. Я облегченно вздыхаю. Я снова счастлив.

Уже совсем светло. Наверное, пора снижаться. Заглядываю к штурману. Евсеев прилип к баллону. Лежит на полу, держит шланг возле штуцера. Лицо закрыто маской, но все равно мне видно, какой у штурмана кислый вид.

Показываю на часы, делаю знак рукой: «Не пора ли снижаться?»

Евсеев радостно закивал головой: «Пора, пора!» — и красноречивым жестом потряс шланг кислородной маски: мол, надоел до смерти.

Из облаков вынырнули на высоте четырехсот метров. Сумрачно, дождливо. Видимость скверная. Под нами болотистая местность. Слева какая-то речушка, впадающая в озеро.

Евсеев стоит в коленопреклонённой позе у прозрачного носа своей кабины, уточняет ориентировку. Перед ним, словно коврик у молящегося магометанина, лежит развернутый планшет с картой. И сам Евсеев до смешного похож на правоверного. Посмотрит вперед, беззвучно пошевелит губами, нагнется к карте, упираясь ладонями в колени, и снова выпрямится: «Нет бога, кроме аллаха, и Магомет пророк его!»

Вот опять нагнулся, ткнул пальцем в карту, схватил карандаш, листок бумаги, черкнул торопливо две строчки и полез ко мне передавать.

Та-а-ак, хорошо! Мы вышли левее Клина, правее Калинина, на речку Шошу, впадающую в Волгу. Сейчас будет железная дорога, идущая на Ленинград, и отсюда мы будем менять курс на свой аэродром. Москва останется слева. Это запретная зона. Залетать в нее категорически запрещено. Да нам и нет необходимости.

Наскакиваем на железную дорогу. Какая-то вдрызг разбитая станция. Валяются остовы полусгоревших вагонов. Дыбятся к небу ржавые железные конструкции водонапорной башни.

Разворачиваемся, берем курс домой. Идем почти бредущим. Пронесимся над домами разбитого Клина, над аэродромом, забитым «Илами»-штурмовиками. Погода совсем никудышная. По самой земле стелются ключья тумана. Все гуще и гуще. Впереди все закрыто, и, как видно, до

своей базы нам не дойти. Дело дрянь, нужно куда-то садиться. Разве, пока не поздно, вернуться в Клин?

Бросаю взгляд налево. Москва! Черный дым из заводских труб накрыл город грязным шлейфом. Решение приходит внезапно:

— А, была не была!

Круто разворачиваю влево. У штурмана округляются глаза. Хватает карандаш, бумажку, пишет, сует мне записку: «Ты с ума сошел? Запретная зона!»

Я верчу записку в руках: «Запретная?! Х-м!..» Озоруя, пишу «резюлюцию»: «Но пасаран! Пасаремос!» — «Они не пройдут! Мы пройдем!»

Возвращаю Евсееву. Прочитал, засмеялся, махнул рукой: давай, мол.

Подходим к городу. Где-то здесь должен быть центральный аэродром. Почти из-под самого нашего носа из облаков вдруг появляется округлая громада азростата воздушного заграждения. Шарахаюсь в сторону и тут же замечаю зеленое поле аэродрома с белым посадочным «Т». Выпускаю шасси, с ходу иду на посадку.

В самом конце пробега самолет вдруг ни с того ни с сего заартачился, заскрежетал колесами и, высоко задрал левое крыло, резко крутнулся на месте. Этого еще не хватало! Торопливо ударяю рукой по лапкам выключателей моторов. Самолет остановился, вздохнул, как запаренная лошадь, и, осев на правый бок, замер в такой позе, будто увидел что-то интересное в траве.

Я отстегнул ремни и вылез из кабины. К нам, постреливая вверх синими кольцами дыма, спешил аэродромный трактор-тягач.

Самолет приволокли на стоянку. Именно приволокли. Крупный осколок снаряда вклинился в тормозной диск колеса, да так и застрял в нем. Выпали из-под крыльев светящиеся рваными дырами посадочные щитки. Из-под раскромсанных капотов моторов черной блестящей стружкой текло на землю масло.

С красной повязкой на рукаве из служебного здания вышел дежурный. Еще издали крикнул:

— Кто вас сюда звал? Вы что, не знаете, что здесь запретная зона?

Подбежал, козырнул официально, явно собираясь ругаться, но, взглянув на машину, обмяк:

— Где это вас так?

— Над Берлином.

— О-о-о!.. — В глазах испуг и уважение. — Тогда другое дело! — Снова козырнул. — Извините, пойду доложу, — и, придерживая рукой кобуру пистолета, убежал.

— Ишь ты, он доложит, — проворчал штурман, доставая из кармана портсигар. — А пригласить нас в помещение не дотумкал.

Я взглянул на Евсеева. Лицо прозрачное, зеленое, под глазами черные круги. Подошли Заяц с Китнюком. Тоже — видик...

Зяц усталым движением потер ладонями лицо, сказал смущенно:

— Не смотрите так, товарищ командир, вы тоже не лучше выглядите. Дать вам зеркальце?

— Нет, Заяц, не надо. Не хочу разочаровываться.

Только сейчас я ощутил в себе страшную усталость. Это была не та усталость, при которой человек, получив возможность отдохнуть, падает, проваливается в блаженное ничто. Это была совсем другая усталость, когда каждая клетка тела, отравленная, нокаутированная — взлетом, спадом, жизнью, смертью, — немеет и, теряя чувствительность ко всему, вдруг начинает постепенно возвращаться к жизни. И возвращение это несет с собой такую вездесущую и опустошающую боль, что порой кажется — уж лучше умереть бы!

Были бы мы сейчас в полку, оглушили бы себя перед завтраком (или перед ужином?) добрым стаканом водки — к ней я уже не испытываю прежнего отвращения, — добрались бы кое-как до своих коек и умерли б на несколько часов. Но это в полку, а здесь... Действительно, почему этот дежурный капитан не пригласил нас в помещение?

Подавляя в себе уже знакомое мне растущее чувство беспричинного гнева, я полез на машину, вынул из кабины парашют и лег на крыле, положив парашют под голову.

Но лежать было неудобно. Меня раздражало серое небо, смешанные с дымом облака, приземистое здание аэродромной службы, скрип железного флюгера на старинном шпиле. В голове позванивало: треньк! треньк! треньк!.. А изнутри на черепную коробку что-то давило, причиняя тошнотворную боль.

Черт знает что! Долго мы будем находиться так, в полной неизвестности?

На крыло, пыхтя, взобрался Евсеев. Лег рядом, обдав меня табачным перегаром.

— И как мы долетели, командир, ума не приложу! В правом моторе все кишки перемешались. Масляный бак разбит. Генератор вдребезги.

— Черт с ним, с генератором!.. — Меня мутило. — Важно, что мы целы и сидим... в запретной зоне.

— Вот и плохо, что в зоне. В приказе расписывался? Расписывался, а сам же его и нарушил. Потянут нас с тобой к ответу.

Меня отпустило. Конечно, на время, на несколько секунд, но какие это были блаженные секунды! Мысль ясная, четкая, во всем теле легкость.

— Не потянут, — сказал я, все еще боясь открыть глаза. — Избитый вдрызг самолет из Берлина. За тридевять земель. Из фашистского царства, из гитлеровского государства. Что ты, Коля! — Мне снова стало дурно. — О, ч-черт, как я устал!

— Тихо! — сказал Евсеев. — Смотри.

Я открыл глаза. Рядом с самолетом стоял камуфлированный лимузин и какой-то коренастый полковник в очках, заложив руки в карманы

распахнутой шинели, с задумчивой внимательностью смотрел на самолет. Потом нерешительно, словно боясь, что его окриknут, подошел к обвисшим посадочным щиткам и что-то вынул оттуда. Это был небольшой, длиной со спичку, с острыми рваными краями осколок зенитного снаряда. Покрутив им перед толстыми стеклами очков, полковник вынул из кармана кителя бумажник и положил в него находку.

— Порядок! — шепнул Евсеев. — Теперь он пошлет железку домой и опишет там всякие страсти-мордасти.

Я не ответил, мне было нехорошо. Но об этом полковнике я почему-то не мог думать плохо. Уж очень много было у него уважения к этому страшному сувениру, привезенному ценой смертельной опасности и больших страданий из самого логова врага.

Потом подъезжали еще машины. Вылезали майоры, полковники, подполковники. Смотрели, обменивались вполголоса замечаниями и, бросая украдкой взгляды на нас, неподвижно лежащих на крыле, уезжали.

Мы уже почти по-настоящему задремали, когда нас разбудил громкий окрик:

— Эй, люди, кто тут есть живой, вылезай!

Мы поднялись. Завозились в своей кабине Заяц с Китнюком. Небольшого росточка, юркий капитан, проворно выскочив из машины, громко хлопнул дверкой:

— Поднимайтесь, герои, я за вами приехал!

Мы сползли с крыла на землю. Капитан подлетел, щелкнул каблучками, лихо козырнул:

— Здравствуйте! Я из штаба АДД. Мне приказано отвезти вас в столовую. Затем за вами прилетят. — И он с подчеркнутой вежливостью пожал нам всем руку. Потом обежал самолет, сунул кулак в пробоину в крыле, поцокал языком: — Здо-о-орово вас попотчевали! — И тут же заторопился: — Поехали, товарищи.

Мы втиснулись в «ЗИС».

— Ну и разговору тут о вас! — сказал капитан, когда машина выехала на шоссе. — Подумать только — от самого Берлина, да еще в таком состоянии! — И, внезапно перейдя на шепот, повернулся ко мне, многозначительно поднял палец к потолку: — Звонок о вас дошел даже доверху. Во!

У меня екнуло сердце. Доверху! Может быть, после этого и мы тоже найдем свои фамилии в списках Указа Верховного Совета Союза ССР? А почему бы и нет! У нас с этим вот вылетом стало ровно пятьдесят боевых. Кроме того, из девяти глубоких рейдов на столицы и административные центры воюющих против нас государств мы сделали восемь. Из трех, самых наитяжелейших, рейдов нашей авиации на Берлин, мы сделали три! Никто из экипажей не сделал столько! Разве только молодой талантливый летчик Герой Советского Союза, гвардии капитан Молодчий.

Зря мы ездили в столовую. Громадный зал, спешащие на службу люди. Все одеты как полагается. А мы в комбинезонах, в лохматых, пахнущих псиной унтах. В руках планшеты, шлемофоны, меховые перчатки. Лица зеленые, прозрачные.

Когда мы вошли, в зале — на секунду, не больше — произошло замешательство. На секунду стих гул, на долю секунды — короткие взгляды, брошенные будто невзначай в нашу сторону. Затем победила столичная корректность. Все занялись своими делами, но в воздухе еще витали обрывки разговора:

— Экипаж из Берлина...

— Берлин бомбили...

— Ну-у-у?!

— Плохая погода — мало дошло...

— А этих подбили...

Мы сели к столу и, взгромоздив себе на колени свое барахло, уткнулись взглядами в скатерть. Тотчас же к нам подплыла дебелая официантка с покрашенным ртом. Хлоп-хлоп!.. — перед нами тарелочки с перловой кашей и сбоку, выпятив голые ребра, какая-то костлявая рыбешка.

Есть не хотелось. Давила усталость. Мы выпили отдаленно-сладкого чая, пахнущего мочалкой, и поднялись.

— Мерси!

Официантка проводила нас жалостливым взглядом.

Словно во сне, мы вышли на улицу, сели в машину, приехали на аэродром. Погода улучшилась. По умытому небу плыли чередой редкие клочки облаков, и от них по земле, догоняя друг друга, бежали по-осеннему четкие тени.

В воздухе прогудел «ИЛ-4», сделал круг, выпустил шасси, приземлился и подрулил прямо к нам.

«За нами, — догадался я. — Кто там, интересно?»

Из самолета вылез и легко соскочил на землю невысокий, коренастый летчик. Я пригляделся: командир корпуса — Логинов!

Сон продолжался. Он не очень удачно начался, но так сказочно кончается. Раз прилетел сам генерал, значит, действительно наша посадка в Москве наделала много шума.

Генерал усадил нас в самолет и привез домой. Мы снова оказались в столовой.

Стакан чуть-чуть разведенного спирта, отбивная с жареным картофелем, соленые огурчики. Огненная жидкость враз растеклась по жилам, снимая без остатка мучительную боль и страшную усталость. Душа покатила в розовый рай. Передо мной сидел усердно работавший ножом и вилкой, розовощекий, бодрый, помолодевший на сто лет Евсеев. И говорил он умные-умные вещи. Смешные. По стенам столовой порхали веселые солнечные зайчики, и в воздухе висела радость. Задание выполнено! Задание выполнено! Было так хорошо!

Мы нашли в себе еще мужества и силы добраться до коек, разуться, раздеться и, ткнувшись головой в подушку, провалиться в сказочное небытие.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Я по-прежнему летал на своем стареньком самолете-ветеране под номером четыре. Он был легкий, как балерина. Я любил его, как хороший кавалерист любит своего коня. После полета, в благодарность за верную службу, я гладил ладонью его округлый, покрытый заклепками бок. И в эти мгновения в груди моей теплилось к нему нежное-нежное чувство. Мы были с ним одно целое. Я верил ему, и он никогда не подводил меня. В свою очередь, он доверялся мне. В полете я слушал его сердце. Ритмично работали двигатели. Стрелки приборов докладывали, как обстоят дела в недрах моторов: какие обороты ко-ленвала, какая температура головок цилиндров, какое давление масла и многое-многое другое. Приборы не всегда радовали меня хорошими показаниями. Но я не обижался на них, наоборот, я любил их за это, потому что они говорили мне правду. И когда я получал предупредительный сигнал, я принимал необходимые меры.

Мы летали много, трудно, тяжело. Мы теряли товарищей. Часто на наших глазах чей-нибудь самолет, цепко схваченный прожекторами над целью, вдруг взрывался или опрокидывался, и среди дымов и огня вспыхивали иногда белые купола парашютов. И тогда мы страдали. Жестоко, мучительно. В товарища бьют, стреляют, а он висит беспомощный, и ты ничем-ничем не можешь ему помочь, не можешь его спасти, даже ценой своей жизни...

Стояли тихие, ясные ночи. Мы их видели и не видели. Они едва воспринимались нами сквозь густую завесу зенитного огня, сквозь голубые лезвия прожекторов, сквозь атаки ночных истребителей. Боевые ночи, летная страда!.. Все крутилось, вертелось, сменялось, как в калейдоскопе. Порхали листки календаря, и, просыпаясь после тяжелого сна, весь скованный страшной усталостью, ты отмечаешь мимолетом, что где-то горланит петух, кричит козленок и лучик солнца пробился сквозь листву к тебе в комнату; значит, ты жив, ч-черт поberi!

Наш полк стал дивизией. Я стал командиром эскадрильи в новом полку. Какая разница! Все те же боевые вылеты, все те же страдные ночи...

Вчера у нас был выходной. Мы легли спать по-человечески — вечером — и утром проснулись. Здорово!

Где-то действительно блеял козленок, кудахтала курица, устраивали свару воробьи, шуршала листва за окном. Я слушал, слушал, не отрывая глаз. Какое-то волшебство. До чего ж хорошо!

Но затрещал телефон, и все волшебство пропало. Война. Война. Зенитки. Истребители. Прожектора... Я вскочил с постели, схватил трубку. Я еще не привык к этому атрибуту и не привык к должности командира эскадрильи. Я — летчик, это прежде всего. И наверное, летчик не плохой. Я знаю, что не плохой, но хочу быть еще лучше. Хочу, чтобы меня узнавали по почерку, по боевым делам, а не по телефону и не по важному виду. К черту важный вид! Даешь боевой задор и летное мастерство! Все остальное приложится. Однако телефон — это все-таки штука...

Звонили из штаба полка:

— Вас вызывают в дивизию. Срочно. Высылаю машину...

— Есть!

С почтением опускаю трубку, а сердце у меня: ёк-ёк! За лаконичностью слов я уловил что-то важное, большое.

Еду с удовольствием. Командир дивизии — наш бывший командир полка Щербаков. Я люблю этого человека, его добрую улыбку, добрые с лукавинкой глаза.

Командир встречает меня приветливо. Поднимается из-за стола, высокий-высокий. Выходит навстречу, смотрит внимательно, с высоты своего роста и нового положения. Протягивает руку: «Здравствуй. Садись». И ласково трогает меня за плечо. Он чем-то смущен. Явно смущен. Я это вижу. И готов пойти ему на помощь. Готов сделать для него все возможное и невозможное.

— Гм. Да... — говорит он, садясь за стол, и обеими руками крепко потирает себе лицо.

Он хочет что-то сказать и не решается. Соображаю — что? Догадываюсь: задание. Ответственное и, очевидно, опасное. Если он не решается, мнется, значит, опасное. Волнение командира передается мне. Говорю почти шепотом:

— Товарищ командир, я готов на выполнение любого задания.

Он бросает на меня быстрый взгляд.

— Спасибо. Я это знал. — Чуть-чуть улыбнулся. — Словом, ты угадал — задание.

Потянувшись рукой, он, не глядя, взял стоявшую в углу свернутую в рулон карту, развернул ее на столе и прижал углы тяжелым пресс-папье и пепельницей.

— Полетите вот сюда... под Варшаву.

Я удивленно откинулся в кресле.

— Под Варшаву?! Товарищ командир, так нам же не хватит ночного времени!

Щербаков вздохнул, постучал пальцами по столу.

— Вот то-то и оно, что не хватит. Об этом и речь.

Так вот оно что! В груди у меня холодок, азартное волнение. Мелькнула мысль: «Задание Верховного Главнокомандования?»

— А-а... это что — важно?

— Очень. Сказано: «Даже ценой экипажа!» Вот как.

Молчание. Я взвешиваю обстановку. Мысли идут стройной чередой: «Ценой экипажа? Ерунда! Как-нибудь это дело обмозгуем. Важно долететь туда, это ясно. Ну и... конечно, важно вернуться обратно. Но это уж мое дело». Я уже увлечен заданием.

— А что мы там должны проделать?

— Сбросить на парашютах четыре человека и груз.

Четыре человека! Я уже догадываюсь, что это за «человеки». Разведчики! И конечно, большие, раз задание «сверху». Я уже не могу сидеть спокойно. Всакиваю с кресла, вытягиваюсь по стойке «смирно».

— Товарищ командир, я готов!

Щербakov вздыхает, убирает карту со стола, долго-долго скручивает ее в рулон. Я вижу, он хочет что-то спросить. Жду. Наконец он решает. Поднимает голову и смотрит на меня с интересом.

— Ты вообще-то, между нами говоря, понимаешь, что это значит — нехватка ночного времени?

— Понимаю, товарищ командир. На обратном пути, где-то возле линии фронта, нас, возможно, собьют истребители.

— Ну, и на что ты надеешься?

Я пожал плечами.

— На случай. И на обстановку. Сейчас трудно сказать. Там видно будет.

Командир опустил глаза. Нет, он не такого хотел от меня ответа, я это видел отлично. И я уже знаю, о чем он хотел бы еще спросить. Он хочет знать: почему я с такой готовностью соглашаюсь на этот полет?

Откровенно говоря, я и сам не знал точно — почему. Просто хотелось, и все. Нельзя, конечно, принижать достоинства врага, но не нужно их и преувеличивать. Мы ведь тоже не лыком шиты. Ну, а основную роль играл, наверное, фактор доверия. Задание «сверху», да еще персональное — это, это... Недаром же мы говорим: «Служу Советскому Союзу!» Вот ему-то я и должен послужить.

— Ну ладно, — сказал командир. — Раз так — прощаться не будем. Действуй, выполняй и... возвращайся. — Он поднялся, поставил в угол свернутую карту и протянул мне руку. — Иди. У тебя теперь эскадрилья, выбирай любой самолет. Вылет отсюда, с нашего аэродрома. Все!

«Любой самолет. Любой самолет, — думал я, трясясь на сиденье «эмки». — Какой же мне взять самолет? Ну, разумеется, свою «четверку». Какой же еще?»

Да у меня, собственно, не было и выбора. Правда, только вчера нам пригнали с завода четыре новеньких «Ила», но они еще не облетаны. Сегодня в первый раз пойдут на боевое задание, и лететь на них в дальний полет нельзя. Могут быть какие-то неполадки.

По пути заезжаем на аэродром, подкатываем прямо к моей «четверке». Подзываю инженера эскадрильи, тихо, вполголоса, даю указания: горючего залить «под завязку», снять хвостовой пулемет и бронеплиту. Бомбы не подвешивать. Все!

Инженер понимающе кивает головой. Он ничего не спрашивает, ему все ясно. Если снимается хвостовой пулемет и бронеплита воздушного стрелка, значит, самолет полетит на спецзадание, повезет какой-то груз.

Я уезжаю. По дороге то и дело поглядываю на часы: времени в обрез, только пообедать, одеться и перелететь на дивизионный аэродром. Там Евсеев получит задание, и там загрузят самолет.

Евсеев ждет меня, лежа на койке. Перед ним на табуретке поршень, заменяющий пепельницу. Он полон окурков.

— Что ты так долго? Заморился ждавши.

— Давай, давай, собирайся быстро! Спецзадание. — Я снимаю с вешалки комбинезон. — Одевайся теплее.

Штурман кряхтит и мгновенно, по-молодому поднимается. Гладит короткими пальцами лысину.

— Спецзадание?

— Да. Собирайся.

Я хлопочу, суетливо мотаясь по комнате. Зацепил коленкой, опрокинул пепельницу. «Черт тебя дер!» Наконец сажусь на табурет и замираю в неподвижной позе. Мне нужно разобраться в странных чувствах, вдруг нахлынувших на меня. Какая-то ноющая боль в сердце, какие-то смутные предчувствия. Что бы это могло быть?

Евсеев, ворча, ползает по полу, собирает окурки, а я сижу, полузакрыв глаза, и лихорадочно доискиваюсь: что могло послужить причиной такого моего состояния?

Мне было ясно одно: в этом полете нам угрожает опасность. Но откуда и какая?

Может быть, это покажется кое-кому смешным, но я верю в предчувствия. Верю не слепо — по опыту. Услужливая память тотчас же подсказывает примеры.

Однажды мне предстояло перелететь с базового аэродрома на оперативный. Днем, не ночью, и не на боевое задание. Но на меня вот так же напала тоска. Болело сердце, лететь не хотелось. Но лететь надо было. Техники до предела загрузили самолет разным снаряжением и сели сами — девять человек. Итого вместе с экипажем нас было тринадцать. И за всех я в ответе.

Запустил моторы. Опробовал. Послушал тщательно и так и этак. Кажется, все хорошо. А сердце болит.

Вырулил, взлетел. Пока взлетал, весь покрылся холодным потом. Перегруженный самолет оторвался только в конце аэродрома. Замелькали столбы, дома, деревья, опоры высоковольтной линии. Откажет мотор — верная смерть!

В страшном напряжении набираю высоту. Сто метров. Двести. Жду. Когда же, когда это случится?!

Взлет был по курсу, и мы могли бы так прямо и идти по маршруту, но я, ни на йоту не сомневаясь в предчувствии, сделал разворот и пошел с набором высоты по кругу. Триста метров. Четыреста. На сердце отлегло. Теперь уже было не страшно, у нас — высота. Круг завершен, мы над аэродромом. Высота восемьсот. Ложусь на курс. И тут случилось — отказал мотор. Мы благополучно сели.

Или еще, старый опытный летчик Чулков. Лучший в дивизии ас. Как он маялся тогда перед вылетом! И сядет, и ляжет, и закроет глаза, и руки закинет за голову. Я сказал тогда Евсееву: «Смотри, как мается человек. Вот увидишь: не зря».

И точно! На наших глазах по маршруту срезал его огнем своих пушек ночной фашистский истребитель.

И еще случай, и еще, и еще...

Нет, не зря болит мое сердце. Не зря. Значит, где-то глубоко во вражеском тылу откажет какой-нибудь мотор — и все, крышка! А в ствол моего пистолета будет заложен девятый патрон — для себя.

Откуда-то издали до меня доносится голос Евсеева.

— Ты что, командир, невеселый такой? Тебе плохо?

Я открыл глаза. Да, мне было плохо. Выходило, что лететь никак нельзя. Будет честно, если я откажусь от полета сегодня, а завтра, вместо своей старушки возьму другой самолет — новый. Ведь, наверное, можно отложить? Зачем рисковать? Кому это нужно? Ведь мы, очевидно, повезем очень больших и важных разведчиков. Если случится, что они попадут в лапы врагам, это будет такая потеря, что и оценить нельзя.

Перед моими губами стакан с водой.

— На вот, выпей.

Хороший ты мой, Гаврилыч!

Я осторожно отвел рукой стакан.

— Спасибо, друг, не надо. Пошли обедать.

Я почти не ел. Не хотелось. По-прежнему болело сердце. Отказаться. Отказаться! Но под каким предлогом? Сослаться на предчувствие? Меня же засмеют. Опытный летчик, коммунист, и вдруг такое... Смешно!

Мы поехали на аэродром. Я подходил к машине, как к чужой. Я уже не верил ей, твердо зная: сегодня она меня подведет.

Мы перелетели на дивизионный аэродром. Нас поставили в самый дальний угол, подальше от любопытных глаз. Густая трава, кустарник, с десяток берез, и за ними река. Я всегда восторгался ею, с наслаждением слушая мирный плеск воды и вдыхая запах речного простора. Но сегодня мне было не до природы.

Подъехала «эмка» командира дивизии. Я подал команду «смирно», хотел доложить, но Щербаков поморщился, махнул рукой: «Не надо!»

Ну, не надо так не надо. Я не любил докладывать. Зачем? И так все ясно: «Материальная часть в исправности, экипаж к полету готов», — хотя сейчас это и не соответствовало действительности. Но попробуй докажи!

Командир тотчас же заметил мое состояние. Спросил обеспокоенно:

— Ты что, тебе нездоровится?

Наверное, было бы лучше, если бы я сказал, что нездоровится. Но я не мог соврать. Нет, я чувствую себя хорошо, но... И я решил, тем более что передо мной стоял такой человек, которому можно довериться. Я рассказал ему все. И он мне поверил сразу. Выслушал, помрачнел и принялся вышагивать взад и вперед возле хвоста самолета.

— Да! — сказал он. — Хуже всего то, что я не в силах отменить полет. И командир корпуса не в силах. И даже командующий АДД. Вот какая штука. — Он остановился, ожесточенно потер ладонями лицо. — Ну, а предлог — сам понимаешь — смешон. «Предчувствия»! Да. А вон и твои пассажиры едут.

К нам подкатила легковая машина, а вслед за ней — доверху нагруженная полуторка. Кузов ее был тщательно закрыт брезентом.

Из легковой машины вышли четверо: трое мужчин и девушка. Мужчины в шляпах, в элегантных костюмах заграничного покроя, девушка в изящном комбинезоне, перетянутом в талии широким кожаным ремнем, на котором с левой стороны висела фляга, а с правой — маузер в деревянном футляре.

— Э-э, вот это да-а-а! — восхищенно воскликнул Заяц, выглядывая из своей сферической башни. — Вот это си-и-ла!

Девушка была действительно «сила». Изящная, стройная, нежная. Пышные волосы золотистыми волнами спадали до плеч. Большие голубые глаза с длинными ресницами источали само очарование, а прямой тонкий нос и губы говорили, кричали о том, что в жизни есть не только бомбы, самолеты, прожектора, зенитки, но и кое-что другое.

Зяц ахал в фюзеляже: «Бывает же такое, а!» — а я подумал про себя: «И между тем она обречена!»

Щербаков, словно уловил мою мысль, посмотрел на девушку, на Заяца, на меня и, кашлянув, с досадой бросил:

— Ладно, что-нибудь придумаем!

Пассажиры подошли, поздоровались и тут же принялись разгружать полуторку. Сдернули брезент, открыли борта. Мы ошеломленно смотрели на длинные тяжелые тюки, упакованные в прочные брезентовые чехлы. Техник самолета сокрушенно всплеснул руками:

— Да куда же мы впихнем такую прорву!

Действительно, узкий фюзеляж бомбардировщика не был приспособлен для груза, а кроме того, ведь еще и пассажиры!

Я машинально прикинул: весь груз на хвосте — задняя центровка.

Опасно. Соверши на развороте хоть небольшую ошибку в технике пилотирования — машина завалится в штопор.

Командир, поговорив о чем-то со старшим группы, открыл дверь, повернулся ко мне, хмуро сказал:

— Без команды не вылетать. Все указания пришлю с человеком. Кажется, там по маршруту гроза. Поеду потолкую с синоптиками.

И уехал, оставив меня с самыми тяжелыми мыслями. Надежды на отсрочку полета я не питал.

Пассажиры, сняв пиджаки, работали, подносили тюки, прикрепляли к ним парашюты. Техник и Заяц укладывали груз в фюзеляже. Мы с Евсеевым отошли в сторону и легли в траву.

Солнце склонялось к горизонту. Наши часы истекали. Я мысленно перелетел в свой полк. Сейчас ребята ужинают, потом пойдут в штаб, затем — к самолетам. Цель сегодня близкая — железнодорожный узел Витебска. Правда, там сильно бьют зенитки, но ведь это почти возле самой линии фронта. Если и подобьют, то можно спуститься на парашютах к своим.

Груз уложен. Изрядно вспотевшие пассажиры надели пиджаки, комбинезоны, опоясались ремнями, прицепили к ним по фляге, по куску пакли и какую-то дощечку с шершавым красноватым слоем, как на коробке со спичками, и еще — кобуру с пистолетом.

Я спросил одного из них, высокого, седоволосого, с недовольным лицом: для чего эти фляги и пакля с дощечками?

Седоволосый, поведя крючковатым носом, сказал сварливо:

— Неужели не знаете такой ерунды! Во флягах бензин. Им смачивают паклю, чиркают вот этой штучкой по дощечке, и факел готов. Это будет сигналом для вас, что все в порядке.

— Ясно, — сказал я и, увидев бежавшего к нам человека, поднялся. — Прошу занять места!

Ко мне подбежал, запыхавшись, молоденький веснушчатый сержант с васильковыми глазами. Остановился, взял под козырек.

— Вам записка, товарищ гвардии капитан!

Я взял свернутую в несколько раз, влажную от пота бумажку, развернул ее и, не веря своим глазам, прочитал:

«Ваш полет сегодня откладывается из-за метеоусловий. Летите домой и отдыхайте».

Я был готов расцеловать сержанта.

— Спасибо, дорогой! — И, не сдерживая радости, крикнул: — Отставить занимать места! Разгружать самолет! Вылет не состоится!

И тут со мной произошла метаморфоза. Мне никак не хотелось лететь сегодня, а сейчас... Отдыхать?! Как бы не так! Нет, мы сегоднялетаем! Обязательно слетаем. Нужно доказать командиру и самому себе, что мои предчувствия верны!

— Быстро разгружать самолет! — заорал я. — Быстро! Мы должны слетать на боевое задание!

Евсеев удивленно вытаращил на меня глаза, но ничего не сказал. Пассажиры пожали плечами, и по их лицам можно было видеть, что они недовольны. И я их понял: мобилизовать себя на подвиг, на который они шли, стоило больших трудов. И вот — досадный перерыв, расслабление, может быть бессонная ночь в ожидании.

Но... ведь они же не знают, что этот ясноглазый паренек принес сейчас для них счастливый билет, на котором написано: «Жизнь».

Ладно, каждому свое! Радость меня не покидала. Я уже знал: опасность нас миновала. Я даже знал приблизительно, как и где это произойдет. Это будет над целью или после бомбежки. У меня будет хорошая высота, которая позволит дойти до аэродрома на одном моторе. Я ощущал себя окрыленным, заряженным.

Седоволосый, вдруг повеселев, подошел ко мне, дернул носом.

— А вы знаете, я так скверно себя чувствовал. Почему-то не хотелось лететь сегодня. Завтра — пожалуйста, а сегодня — нет! — Он приложил руку к груди. — Вот тут что-то ныло, так нехорошо.

Я вытаращил на него глаза.

— И вы? И вы тоже?! Но откуда вы знаете, что я не хотел лететь? Седоволосый пожал плечами.

— Не знаю. Я ощущал опасность. Вы — тоже. Это видно было.

На нашем аэродроме было пусто. Полк улетел на задание. Мы сели. Самолет еще не закончил пробег, а я, открыв фонарь, приподнялся на сиденье и, надрывая связки, закричал:

— Бо-ом-бы-ы-ы!

Меня поняли сразу. В эскадрилье забегали, засуетились. Откуда ни возьмись, появились бомбы, лебедка для подвешивания. Вооружейники работали как маги. Минута, другая, третья...

— Все, готово!

— Молодцы, спасибо. От винто-ов!

И вот мы отбомбились, отошли от цели, взяли курс домой. Я весь в напряжении: ну когда же, когда?!

Придирчиво вслушиваюсь в работу двигателей: может уже есть какие симптомы? Нет. Моторы поют, урчат: «Ровно-ровно-ровно-ровно!» Ничего похожего!

Я обескуражен: неужели обманулся?

Под нами линия фронта. Надо снижаться. Идти над своей территорией на такой высоте рискованно: свои могут обстрелять из зениток. И снижаться боязно. Ну, когда же, когда?

И тут сдал мотор. Левый. Хорошо сдал, красиво: с искрами, с дымом. Я даже подпрыгнул от радости. Вот оно! Что я говорил?!

Быстро принимаю меры к ликвидации возможного пожара.

— Заяц! Свяжись с КП, передай: «Отказал левый мотор. Идем на одном. Приготовьте посадку».

Я счастлив. Мои предчувствия оправдались, и совесть моя чиста. Ах, какой же опасности мы избежали! И это все Щербаков. Был бы на

его месте сухарь, флегматик, хлебать бы нам горе полными ложками...

Наутро наш самолет был опять набит до отказа. Но это уже другой самолет — новый. Мимоходом в штабе мы встретились с Щербаковым. Командир сделал движение, будто хотел обнять меня. У меня был такой же порыв, но кругом люди. Мы только переглянулись и поняли друг друга без слов. Слегка коснувшись пальцем моей груди, он спросил:

— Ну, как, а сегодня тут в порядке?

О, сегодня тут было в порядке! Я засмеялся:

— Еще бы!

— Ну и ладно! Сегодня по маршруту опять гроза. Но сейчас это уже хорошо. Мы выпустим тебя пораньше, чтобы ты мог вернуться домой затемно. Понял? — И прошел.

Я смотрел ему вслед, не веря своим ушам. Да при такой ситуации полет этот будет увеселительной прогулкой! Вернуться затемно, подумать только!

Мои пассажиры, уже одетые во всю свою амуницию, лежали поодаль, курили. Только девушка была в стороне, и возле нее увивался Заяц.

Я подошел и лег возле старшего группы. Это был лет сорока, коренастый, с артистической внешностью мужчина. Крупная голова его с рыжеватыми волосами была разделена безукоризненным пробором. Нос с горбинкой. Густые нависшие брови. Голубые глаза смотрели важно и надменно. На среднем пальце левой руки красовался перстень с крупным бриллиантом. Он лежал на животе, закинув ногу на ногу, и, подперев обеими руками массивный подбородок, курил, задумчиво пуская вверх кольца синеватого дыма.

— Закуривайте. — Он пододвинул мне большой золотой портсигар, украшенный каким-то замысловатым гербом и драгоценными камнями.

— Спасибо, не курю, — сказал я, рассматривая портсигар.

Он перехватил мой взгляд, вздохнул и перевернулся на спину.

— Не ломайте голову, — сказал он. — Бутафория. Портсигар, конечно, золотой, и камни настоящие, но... все равно бутафория!

— А девушка? — поинтересовался я. — С маузером. Это тоже бутафория?

Он усмехнулся, глядя на флиртующего Зайца:

— Эта девушка может с любой руки, хоть с левой, хоть с правой, а то и с обеих сразу, вцепить десяток пуль в полной темноте, только по шороху, в предмет, ну, скажем, в консервную банку на расстоянии двадцати метров. Она прыгает уже девятый раз.

Признаюсь, у меня по спине поползли мурашки. Трудно было отказать от установившихся взглядов: раз нежная, изящная, значит, слабая, беспомощная.

У меня было к старшему дело: самолет наш был совершенно не приспособлен к сбрасыванию парашютистов и тем более громоздких

грузов. Хвостовой люк узок и неудобен; для каждого раза требовался отдельный заход, а у нас парашютистов — четыре и тюков — девять. Значит, нужно сделать тринадцать заходов и, конечно, на малой высоте. Но на какой: двести, триста метров или на сто?

Вот об этом я и спросил у старшего. Тот пыхнул папиросой.

— Как можно ниже, — ответил он.

Во мне все вспыхнуло. За кого он меня принимает!

— А я могу и с бреющего! — вызывающе сказал я. — Подойдет?

— Вполне, — ответил старший.

И я попался. Ночью сделать на бреющем полете тринадцать заходов! Но пятиться было поздно.

— Хорошо, — сказал я. — Будем бросать с бреющего. Но как я узнаю о результатах?

Старший пощелкал наманикюренным ногтем по флаге:

— А факел?

Я недоверчиво хмыкнул:

— Да вы же не успеете!

— Успеем.

Я пожал плечами. Выторговать хотя бы метров пятьдесят высоты мне не удалось. Ну ладно, с бреющего так с бреющего.

Вскоре прибежал посыльный, как и вчера, принес сводку погоды и распоряжение на вылет. Сводка была великолепной — гроза в районе Курска.

Линию фронта мы прошли засветло, между грозových и слоисто-дождевых облаков. Очень удобно и хорошо. Если привяжется фриц, мы уйдём от него в дождевую муть. А пока, лавируя меж облаками, идем открыто на высоте трех тысяч метров. Внизу под нами, на нашей земле, снуют вражеские самолеты. Взлетают, садятся. Как у себя дома! Сердце мое негодует. И нет страха. Только ненависть. Острая, болезненная, лютая.

Слева и справа бородатые облака поливают землю дождем. Сходясь, щупают друг друга огненными клинками молний. Под нами пересекающим курсом прошли четыре немецких истребителя «ME-110».

— Заяц, смотри!

— Вижу, товарищ командир. Идут мимо.

Ясно! Кому из них придет в голову, что днем, на таком отдалении от линии фронта, идет совершенно открыто самолет противника.

Впереди сплошная облачность и дождь. Влетаем в дождевой грохот. Хорошо! Каскады воды хлещут в ветровое стекло. Спокойно, не болтает. Машина словно замерла. Только вот на колени течет вода. Пахнет озоном, прибитой пылью и деревней, какую я помню с детских лет. На душе моей празднично.

Постепенно день гаснет. Темнеет, наступает ночь. Дождь хлещет по-прежнему. Идем влепеую, на высоте триста метров. Моторы гудят, гудят. Хорошо, уютно.

— Заяц, как там пассажиры?

— Спят, товарищ командир.

Я удивлен:

— Спя-ат? Вот молодцы! А девушка?..

Заяц отвечает не сразу. Потом нерешительно:

— Н-нет, товарищ командир, девушка не спит.

— X-хе! — вмешивается Евсеев. — А что же она делает, а, Заяц?

— Она... она помогает мне, — нехотя признается радист.

Кроме девушки, не спит еще один, пятый пассажир. Это инструктор. Он прыгать не будет. Он отвечает за десант. На земле перед вылетом мы разработали с ним технику сбрасывания. Десантник, присев на корточки перед открытым люком, должен ждать энергичного толчка ногой в спину. И все!

Я прыгал с парашютом, и не раз. Не скажу, чтобы это было очень легко — перебарывать в себе чувство страха перед высотой. Но чтобы тебя выталькивали в спину?! Бррр!..

Дождь резко прекращается, и мы освобождаемся из облачного плена. Слева и сзади в чистом умытом небе висит огрызок луны. Ее отражение бежит за нами по земле. Догадываюсь: болота. Значит, мы где-то возле Пинска. Ага, вот и река! Наверное, Припять. Вынимаю карту из-за голенища сапога, ориентируюсь. Точно — Припять!

— Припять! — говорит Евсеев. — Через двенадцать минут будет Пинск. Обойдем?

— Справа сзади, на нашей высоте вижу самолет! — докладывает Заяц.

Впереди на земле медленно зажегся свет. Ясно — посадочный прожектор.

— Аэродром! — говорит штурман. — По кругу ходят самолеты!

— Эх, бомбочки бы сюда! — вздыхает Заяц.

— Хорошо бы! — соглашаюсь я.

Меня душит бессильная злоба. Г-гады! На нашей земле!..

Оборачиваюсь назад. Самолет, очевидно «Ю-88», идет с зажженными огнями. Если убавить скорость и дать ему возможность пройти над нами, можно отлично вспороть фашисту брюхо кинжальным огнем наших пулеметов.

Соблазн велик. Рука сама тянется к секторам газа. Обороты убавлены, скорость снижается. Глядя назад, поджимаю ножным управлением свою машину под фашистский бомбардировщик. Он нагоняет нас. Ближе, ближе! Ярко горят на крыльях огни. Вот он уже рядом, почти над нами. Мне уже видны его синеватые выхлопы моторов.

Заяц сказал нетерпеливым шепотом:

— Ого!.. Товарищ командир, команда будет?..

Евсеев метнулся с кресла.

— Какая команда?! — заглянул в иллюминатор, увидел, понял. —

Ты... Ты что, с ума сошел? Забыл, кого везешь, какое задание выполняешь?! Да за это нас, знаешь...

Я скрипнул зубами и резким движением бросил машину вниз и в сторону. Евсеев был прав, конечно, но до чего же обидно!..

Пинск позади. Бежит луна по болотам. Тихо. Скучно. Борюсь со сном. Мы продвигаемся вперед долго и нудно. Мой палец почти застыл на карте; скорость его движения — один сантиметр за пять с половиной минут! А сколько у нас всего таких сантиметров! Пятьдесят пять! Или тысяча триста семьдесят километров в один конец...

Но время идет, пережевывая расстояние. Кобрин. Брест. Граница Польши. Я сбрасываю с себя дремоту. Наконец-то! Цель близка. Осталась самая малость — двести километров или сорок пять минут полета. Сорок пять! Это и мало и много. Мало, если тебе предстоит еще обратный путь. Много, если ты уже устал от монотонного гула моторов, от ночного бдения, от огненной боли в раковинах ушей, от многочасового сидения, от борьбы со сном. И я гоню, гоню от себя мысль, что нам еще лететь назад так же долго, так же трудно, так же утомительно.

Цель близка. Всего... восемь сантиметров. Я поджигаю себя мыслью, что мы идем хорошо, совершенно точно. Что мы вот-вот выйдем на речку, потом на озеро, потом на небольшой лесной массив. Там мы разыщем полянку, с четырех сторон которой нам замигают условным кодом огоньки карманных фонариков... От мысли, что мы можем и не натолкнуться на речку, проскочим озеро и лесную полянку, нехорошо замирает сердце. А вдруг?! А вдруг?!

Нет, никаких «вдруг» быть не должно!

— Хорошо идем, — говорит штурман. — Сейчас будет железная дорога, потом речка. Заяц! Буди пассажиров, пусть готовятся!

Дальше все пошло стремительно быстро. Вильнула речка, проскочило озеро. Лес!

Мы смотрим во все глаза. Полянка! Нет, не та. Еще полянка!.. Опять не та. А вот и та. Четыре огонька замигали. Наши! Наши! В глубоком вражеском тылу!

Снижаюсь. Делаю разворот. Намечаю ориентир для захода.

— Заяц, вы готовы?

— Готовы, товарищ командир. Парашютист у люка...

Идем бредущим. Низко-низко. Мимо проносятся макушки сосен.

— Внимание! — кричит штурман. — Приготовиться!.. — И у меня в кабине ярко вспыхивает красная лампочка.

— Готово!

Я скрениваю самолет и невольно восклицаю от изумления: факел уже горит!

Мне просто не верится. Да когда же он успел?

Последней прыгала девушка. Заяц тяжело задышал, будто это он

склонился над черным проемом открытого люка, будто над его спиной повисла нога, обутая в унт...

Красная вспышка.

— О-о-о!.. — стонет Заяц. — Гото-о-во!

Четвертый факел опустился на землю и угас. Все! Я облегченно вздыхаю. Люди сброшены благополучно. Теперь тюки: девять заходов. Чувствую себя уставшим от нервной перегрузки. Сбрасывать ночью, с бреющего!.. Ничего, ничего, сам виноват — напросился.

Еще один за другим девять заходов. Мне слышно в наушниках, как кряхтит и ругается Заяц:

— Ч-черт!.. Тяжелый какой!.. Застрял...

Наконец-то все! Усилием воли стряхиваю с себя усталость. Ее нет. Ее не должно быть. Ведь нам еще предстоит обратный путь.

Возвращались мы розовым утром. Вставало солнце, переливалась бриллиантами росистая трава. Дремала Ока под туманным одеялом, а на хмурых опушках сосновых лесов блондинки-березки сушили свои косы.

К аэродрому подошли на бреющем полете. На старте стояла машина руководителя, и лениво, словно мухи, ползали люди. Один, коренастый, отошел в сторону и встал в позе Наполеона. Ишь ты! Надо его положить...

Прижимаю машину к самой траве. Сейчас ты у меня, голубчик, поцелуешь землю!..

фигура ближе. Стоит?! Ах, ты!..

Налетаем как вихрь. Не выдержал, плюхнулся. Ну вот это — другое дело!..

Лихо закладываю машину в глубокий боевой разворот, выпускаю шасси, сажусь. Рулю мимо старта к своей стоянке. Коренастый, смеясь, грозит мне кулаком. Вглядываюсь, и сердце мое обрывается: генерал! Командир корпуса, Логинов...

СЕКУНДЫ, СТОЯЩИЕ ЖИЗНИ

Мелькают дни, мы их не видим. Ночи, ночи, ночи... Рев моторов. Бомбы. Взлеты. Цель. Проектора. Зенитки. Атаки истребителей. Линия фронта под Сталинградом. Аэродромы противника. Южная окраина Сталинграда. Северная окраина. Отдельные кварталы. Отдельные точки. Бомбежки с малых высот. Встают фонтаны земли. Жуткое месиво из огня и дыма, из едкой цементной пыли. Ад на земле. Ад в воздухе. По два, по три вылета в ночь...

Мы не люди. Мы ступки невообразимой воли и страстного желания победить. Не видим, что едим, не знаем, когда спим. В нашем сердце

холодное кипение, в сознании — единая цель, ради которой не жалко отдать жизнь. Мы знаем одно: идет великая битва за ключевые позиции. Враг надеялся, что здесь он схватит нас за горло. Но наши пальцы тоже что-то нащупали. Так раздавить же гадину! Раздавить!

И мы давили. Порой нам не хватало воздуха. Порой нам не хватало сил. Но воля наша была несгибаема. Русь, родина наша, никогда твои сыны тебя не предадут!

Декабрь дает передышку. Низкая облачность, туманы. Летать нельзя. Лишь пехота воюет. Враг под ударами советских войск откатывается на запад. Линия фронта расчленена. Возникают «котлы» тут и там. Фашистские части, хорошо оснащенные боеприпасами и техникой, занимают круговую оборону: окутываются проволокой, оцетиниваются противотанковыми надолбами, рвами и, подчиняясь приказу фюрера, ждут помощи свыше.

Фронт уходит на запад, а в нашем тылу остаются «орешки». Опасно. Враг может набраться сил, прорваться, развить наступление, и тогда — катастрофа. Тогда наши войска окажутся в окружении. «Котлы», «орешки» нужно было немедленно уничтожить. А чем? Главные ударные силы сейчас развивают наступление на западе, а блокирующие слабы. Авиацию б сюда, бомбардировщиков! Но погода плохая. Низко, над самой землей ползут облака. Враг притаился под их прикрытием, не открывает себя, как обычно, зенитным огнем. Плохо дело. Зло берет: пехота дерется, а мы... Особенно мешал один такой «орешек».

Несколько раз вылетали дивизией на «провокацию». Ходили низко, ходили высоко. Гудели моторами, дразнили. Хоть бы один выстрел! Нет, враг хитер. Молчит, не стреляет.

В штабе ломали головы.

— Надо заставить его стрелять. Но как?

— Очень просто — огонь на себя!

— Похоже на сказку про кота и мышей. Но кто же повесит коту звонок на шею?..

— А надо спросить у летчиков.

Спросили. И почти не удивились — каждый ответил: «Я!»

Гадали долго: кого послать. Тут надо, чтоб точно. Вокруг «орешка» наши войска, не попасть бы по своим. Чтоб штурман мог вывести самолет безошибочно, прямо на укрепленный пункт врага. Чтоб летчик мог хорошо водить машину в тумане на бреющем полете.

И тут генерал вспомнил про нас.

— Я знаю такой экипаж! Это тот, который заставил меня однажды целовать землю. Ручаюсь, они выполнят задание.

Ну, лететь так лететь. Мы готовы. Мы не задумывались над тем, что этот полет, вероятнее всего, будет для нас последним. Не задумывались, может быть, потому, что лишь от нас зависел успех этой операции. Полки готовились к полету, и мы должны сыграть первую скрипку в этом грозном бомбовом оркестре.

Мы гордились таким заданием. Очень гордились.

Пошли в штаб. Командир полка сказал:

— Пойдете без бомб, так лучше будет.

Я опешил. Как это — на боевое задание и без бомб? Тебя будут бить, хлестать огнем изо всех видов оружия (на бреющем полете можно и палкой сшибить!), а ты даже и ответить не сможешь! Обидно.

— Товарищ командир, да как же это?

— Полетите без бомб, — повторил командир и тут же, увидев кислое выражение моего лица, добавил: — Пойми, голова, кругом будут пули свистеть, а вдруг какая по взрывателю заденет!..

Нет, я не мог лететь без бомб. Без оружия идти на врага!..

— А что, если враг окажется умнее, чем мы думаем? Если он возьмет да и не будет в нас стрелять, что тогда?

У командира даже брови на лоб полезли. Посмотрел на меня, усмехнулся:

— А ты хитер, братец! Правда твоя: врага недооценивать нельзя. Ладно, полетите с бомбами. Взрыватели — замедленного действия.

Нам была предоставлена возможность решать самим, как заходить, с какой стороны, только чтобы время было выдержано точно.

Мы с Евсеевым разложили на полу карты разных масштабов, посмотрели, поползали и выбрали: заходить будем с запада. Во-первых, удобно: местность там испещрена оврагами. По ним можно подкрасться поближе, выскочить, и, во-вторых, с запада прямо к цели подходит большак — хорошо наводящий ориентир, не съобьешь, и, в-третьих, немцы получают медикаменты и продукты питания с воздуха, на парашютах; мы лелеяли надежду, что они могут принять нас за своих и не открыть огня, а мы их — бомбами!

Наконец все готово. Командир сам провожает нас на линейку. Мы молчим. Говорить больше не о чем да и не хочется.

Похрустывает под ногами снежок. Над головой ползут клочки облаков в несколько ярусов. Облака золотые от солнца. Кое-где проглядывают голубые лоскутки неба. Безветренно. Тихо. Только снег под ногами хруст-хруст... Все самолеты готовы к вылету. У каждого под брюхом полустонные бомбы.

Запускаем моторы. Выруливаем. Нас провожает взглядом весь полк. Командир сжал пальцы обеих рук, поднял их высоко над головой, потряс в прощальном приветствии. Я помахал ему рукой:

— Спаси-и-бо!..

На сердце у меня спокойно. Только в груди будто скручена тугая пружина.

Взлетаем. День. Непривычно светло и до чего же интересно! Облака с позолотой, клочки голубого неба. Под крылом заснеженные зимние поля, тут и там пересеченные дорогами. Бежит поезд. По черному асфальту ползет на запад вереница машин, крытых брезентами. Стоят

сосны — темно-зеленые с белым. Красотища-то какая! Какая красотища!..

Мы держим курс на север. Высота — 400 метров. Погода пока терпимая. Разрозненные облака — выше нас, ниже нас. Видать землю, видать небо. Но скоро картина резко меняется: небо над нами становится чистым, зато землю покрывает пелена тумана. Снижаемся до бредущего. Мелькают макушки елей, лесные полянки, пробитые зверем тропки, печные трубы сожженных деревьев... Губы привычно шепчут в адрес фашистов слова: «Гады! Гады проклятые!»

Нырдем под серые облака. Сразу становится темно и неудобно. Меняем курс на северо-запад. Облака все ниже, ниже. Иногда они совсем ложатся на землю, и мне становится не по себе: надо точно выдерживать курс и в то же время ни на секунду не упускать из глаз мелькающие елки, овражки, высотки. Трудно и смертельно опасно ходить в тумане бредущим полетом. Но облака, словно жалея нас, приподнимаются, образуя тонкую спасительную щель.

Штурман тоже трудно. Ориентеры внезапно появляются и тут же исчезают — проносятся мимо на бешеной скорости. Разбери попробуй: то ли это речка, занесенная снегом, то ли просто овражек.

Летим долго. У меня уже занемели руки от напряжения и в глазах, как от мелькающих досок забора, стоит сплошная рябь. Но вот — внимание! Штурман вскочил с кресла, упал на колени. Я уже знаю: сейчас должен быть контрольный ориентир: речка под названием Межа и отросток железной дороги. Если выйдем точно, хорошо. А если не выйдем... Я уже не могу себе представить, что будет, если не выйдем.

Сейчас, пока мы летим под туманом, наши авиационные полки по расчету времени прокладывают путь над облаками. Передовые их отряды придут в намеченное место точь-в-точь в ту самую минуту, когда мы должны появиться над головами врага.

Нет, мы не можем, не имеем никакого морального права не выйти на контрольный ориентир!

Летим три или пять долгих-долгих минут. Леса, перелески, полянки. Овраги, овраги и белый-белый, нетронутый снег. Сжимается сердце от страха: «Не вышли!..»

Но штурман поднимает руку:

— Внимание!.. Курс девяносто восемь!

Я склоняю крыло, и в то же время под нами мелькают крутые берега речки, остатки разбитого моста.

Вышли! Вышли!

Я облегченно вздыхаю. Сердце наполняется радостью. Я счастлив безмерно. Молодец! Молодец штурманяга!

А теперь прятаться в перелесках, в складках, в оврагах. Через восемь минут — цель.

Перед нами речка с крутыми высокими берегами. Нырдем к речке, скованной льдом. Берега выше нас. Хорошо! Звук наших моторов ухо-

дит вверх. Речка вильнула в сторону. Но по курсу! Выскочили: лес! А затем — заснеженная балка, поросшая кустарником. Мчимся по самому дну.

— Здорово идем, — говорит Заяц. — Аж сзади снег столбом.

Снег столбом? Хорошо! Я с наслаждением вдыхаю морозный воздух.

Штурман стоит на коленях. Он недвижим. Он выразительно красив в эти минуты. Он как скульптура. Вся его поза — сплошное напряжение.

Щелчок в наушниках.

— Внимание! Сейчас выходим на дорогу.

Балка сворачивает влево. Чуть-чуть штурвал на себя! На нас наползает склон. Еще штурвал на себя! Мы вылетаем на простор — и... сердце мое обрывается...

Мы налетели на колонну! Длинную серую колонну войск, шагающих на восток. Чьи это войска? Свои? Чужие? Те и другие при данной обстановке одинаково опасны. Немцы откроют шквальный огонь, увидев красные звезды, наши обстреляют лишь потому, что мы крадемся с запада. Разбираться будут потом... когда уже станет поздно.

Но что это?! Все многотысячное войско разом встало! И вверх полетели... шапки! Замелькали восхищенные лица, открытые рты, несомненно кричавшие русское «ура»! Колонна, вздымая оружие, благословляла нас на правый бой.

Это было потрясающе! Секунды, стоящие жизни!

Штурман повернулся ко мне взволнованным лицом. Он что-то хотел сказать и не смог. Только слышно было в наушниках, как кто-то ахнул восторженно и вздохнул — очевидно, Заяц с Китником.

Все пронеслось, промчалось, будто во сне. Под нами большак, широкая изъезженная дорога, сплошь заваленная по бокам разбитой военной техникой: пушками, танками, машинами. Тут и там зияли глубокие воронки, едва засыпанные снегом, валялись трупы лошадей. Все мелькает, мелькает, проносится мимо. Облачность ниже, ниже. Этого еще не хватало! Краем глаза вижу, как штурман, весь подавшись вперед, положил руку на кнопку бомбосбрасывателя.

Рвы, мотки колючей проволоки, надолбы, ежи. Цель близка, и смерть близка, но страха нет. В груди — онемение, холод, пустота. Лишь где-то в голке, согревая душу, теплится видение — поднятые вверх винтовки, раскрытые в крике рты: «Уррра-а-а! Уррра-а-а!»

Из-под клочков тумана на нас внезапно надвинулись стены бревенчатых хат. Успеваю заметить — крыш нет, а из-за стен, судорожно держащаяся и изрыгая пламя, бешено палят орудия. Огонь, огонь, пламя! На нас со всех сторон летят снопами искры: красные, зеленые, желтые. Под нами мелькает месиво из человеческих тел, пушек, пулеметов, касок, искаженных ужасом лиц.

Штурман нажал на кнопку; посыпались бомбы. Всё — задание выполнено! Пробиваемся вверх, в розовый свет заходящего солнца.

В ясном-ясном небе комариной тучей висели бомбардировщики. Было видно, как сыпались стальные чушки, а навстречу им из-за облаков вставали черные столбы дыма.

Берем курс домой, идем минут пятнадцать, и вдруг — трррахх! И... тишина. Отказали оба мотора. Враз! Мелькает мысль: «Конец!..» Валимся в облака. Пронесются сырые клочья. Лес. Макушки сосен. Полянка!

Не веря своим глазам, добираю штурвал, сажаю машину на брюхо. Сели. Кажется, хорошо. Мягко скользим по снегу. Начинаю ликовать, но рано. Удар! Треск. Звон металла. Привязные ремни впиваются в плечи. Вокруг каскады снежной пыли.

Тишина. Абсолютная. Мне на ресницы падают снежинки. Я все еще прижимаю к себе штурвал. Прихожу в себя. В штурманской кабине встает Евсеев и очень старательно стряхивает с комбинезона снег. Сзади в фюзеляже чертыхнулся Заяц, кашлянул Китнюк. Осторожно отпускаю штурвал, открываю фонарь и выбираюсь на крыло. Все ясно: на нашем пути оказалось шоссе с глубокими кюветами.

Из-за поворота дороги, гремя цепями, вылетела грузовая машина, подъехала, затормозила. Из кабины, широко распахнув дверцы, выскочили двое: шофер в овчинном полушубке, высокий, крепкий, с обветренным лицом, и молодая женщина, в тулупе и в пуховом платке. Подбежали. У обоих трясутся губы, светятся страхом глаза.

— Целы, не убились?! Слава богу!

— А мы видим, вы падаете, скорее к вам. — У шофера большие руки, пальцы в ссадинах и трещинах. Он лезет в карман стеганых брюк, достает кiset с табаком. — Закурите, вам легче будет.

— Спасибо, я не курю.

Он сует кiset в карман. Не закуривает, наверное, из солидарности.

Короткий осмотр самолета: «Хм, да!..» Машину бросить нельзя, ее еще можно поднять. Решаю: оставляю экипаж (рядом село), а сам буду добираться в полк.

Втискиваюсь в кабину шофера, и мы едем на полустанок железной дороги, по которой с грехом пополам ходит поезд. Ночью он должен быть.

Трясаясь на сиденье, обдумываю, как мне добраться до полка, не имея при себе никаких документов. Билета мне никто не продаст и в вагон не посадит...

В поезд я сел глубокой ночью, открыв стволом пистолета «ТТ» запертую дверь.

Было без пяти два, когда я, еще раз применив пистолет, открыл вторую дверь и пробрался в битком набитый спящими пассажирами вагон. Поискал глазами, где бы прилечь. Ага, вон есть местечко под самым потолком, на багажной полке! Залез, отодвинул какие-то ящики и, сняв унты, соорудил из них подушку. Ноги я втиснул в пространство между

потолком и чьим-то баулом. Не очень удобно, но спать можно. И я уснул, не забыв поздравить себя с наступившим Новым годом.

Проснулся оттого, что кто-то бесцеремонно дергал меня за ногу.

— Эй, гражданин, проснитесь, приехали!

Я открыл глаза и поднял отяжелевшую голову. Было уже светло. Сквозь давно не мытые окна в вагон пробивался свет ясного морозного утра. Из-за открытой двери под потолок били струи чистого, пьянящего воздуха.

— Что? Приехали? Куда?

— В столицу приехали, в столицу. Да отдайте же, ради бога, мой баул!

— Ах, баул, простите!

Я поджал ноги. Пожилой усатый мужчина в лисьей шапке и старомодном пальто с облезлым меховым воротником, сердито хмуря лохматые брови, схватил баул и стащил его вниз.

В вагоне стояла суতোлка. В узком проходе, сталкиваясь, словно в водовороте, плыли узлы, мешки, фанерные чемоданы. Я обулся и, улучив момент, спустился на пол. Проходя через тамбур, бросил взгляд на свое отражение в дверном стекле. Ну и ви-и-дик! Опухшее от неудобного сна лицо, под глазами темные круги, подбородок в щетине. До первого патруля! А мне еще надо добраться на Каланчевскую, к электропоезду. А комендантские посты на вокзалах, я и забыл про них! Ведь там без пропуска не пройдешь!

Шагая вместе с толпой по подземному переходу, усиленно думаю, как мне быть. Но ничего не придумал. Толпа поднесла меня к проверяющим КПП. Прочные барьеры из толстых труб, узкие проходы. Четыре сержанта со строгими лицами под командой еще более строгого лейтенанта придиричиво рассматривали пропуска.

— Проходите! Следующий! Не толкайтесь! Кому говорят! Не спешите.

Оказавшись в проходе барьера, я локтем сдвинул на живот кобуру с пистолетом и, взяв в руки планшет и меховые перчатки, сделал вид, что собираюсь достать документы, да вот руки заняты, неудобно.

— Проходите, товарищ летчик, — сказал лейтенант и одарил меня теплым взглядом. — Следующий!

Над Москвой стояла морозная дымка, сквозь которую тускло просвечивал медный диск солнца. Ожидая электричку, я с беспечным видом прохаживался по дощатому настилу. Звонко скрипел снег под унтами, валил пар изо рта. Мне было чертовски не по себе. Опять предстояло ехать «зайцем». Чтобы купить билет, я должен предъявить какой-то документ, да, собственно, у меня и денег-то не было: на боевые задания мы летали с пустыми карманами.

Подошел поезд. Я вошел в вагон и, увидев свободное место, сел. Рывкнули клаксоны. Площадка поплыла назад. Все быстрее, быстрее. Мост. Трамвай, троллейбусы. Вид на Каланчевскую площадь. Древние

московские избушки. Сараи, склады, заборы, заборчики. Заводские трубы. Стучат колеса, стучит мое сердце: вот-вот сейчас войдет ревизор, начнет проверять билеты, что я скажу?! Стыд-то какой!..

Вагон празднично расцвечен свежими листами газет, которыми шуршат пассажиры: «С Новым годом! С Новым годом!»

Против меня сидит важный пожилой гражданин в каракулевой шапке. На носу очки. Читает «Правду», остро пахнущую свежей типографской краской. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей о ревизоре, я тоже принаравливаюсь читать последнюю страницу. Газета полна сообщений о фронтовых делах и героизме тружеников тыла. сосед шевельнул листом, и газетная страница, загнувшись, закрыла текст. Я с досадой отвернулся к окну. Теперь передо мной расстилался унылый пейзаж с дымящимися заводскими трубами, с оврагами, заваленными разным металлическим хламом.

Бросаю досадливый взгляд на читающего пассажира. У меня к нему неприязнь. Такой важный, медлительный.

Перед моим носом перевернутый вверх ногами текст, набранный крупными буквами: «Указ...»

Сзади, громыхая роликами, тяжело открывается дверь.

— Граждане, приготовьте билетки!..

Я съеживаюсь, будто меня кто стукнул по затылку. На меня смотрят или мне это только кажется? И я делаю вид, что очень заинтересован указом. Читаю:

«...Президиума Верховного Совета Союза ССР...»

С дрожью слушаю, как, приближаясь ко мне, пощелкивает сзади ревизорский компостер. «Черт возьми, что же делать?! Бежать? Неудобно». Сижу, как прикованный, читаю:

«...о присвоении звания Героя Советского Союза...»

И вдруг мой взгляд натывается на знакомое сочетание букв. У меня захватывает дыхание. Черт возьми, не может быть! Да ведь это же моя фамилия!

Я вырываю у незнакомца газету.

— Па-а-а-звольте! — изумленно восклицает гражданин. — Что вы делаете?!

Лицо его вытянуто, глаза с блюдце, очки вот-вот свалятся с носа. Он протягивает руку за газетой.

— Подождите, подождите! — бормочу я, отводя его руку и жадно впиваясь глазами в строчки Указа. — Ведь это... меня! Ведь это... меня!..

Все пассажиры, вытянув шеи и привстав с мест, смотрят в нашу сторону.

— Что случилось? Что случилось?!

— Да тут пьяный какой-то!..

— Он ненормальный, что ли?..

— Тише, тише, товарищи, ну как не стыдно!..

Первым приходит в себя мой сосед. Он выхватывает у меня газету, поправляет очки, дрожащими пальцами разглаживает измятые страницы..

— Простите меня, пожалуйста, как ваша фамилия, молодой человек. — Голос его дрожит от волнения.

Я несмело, будто чужую, называю свою фамилию, и имя, и отчество.

— Да, да! Совершенно верно! — восклицает незнакомец, приподнимаясь и растерянно снимая шапку. — Поздравляю вас сердечно, товарищ, и прошу простить великодушно!

В вагоне тишина, затем взрыв голосов:

— Где? Что?

— Не может быть!..

— Поздравляем вас, поздравляем!

Зашуршали газеты, расцвели улыбки.

— Герой Советского Союза!..

— Смотри-ка ты! Смотри-ка!

Я сижу совершенно обалдевший, не свожу глаз со строк Указа, упиваюсь непередаваемой музыкой слов: «Герой Советского Союза!..»

Ко мне подошел ревизор.

— Ваш билетик, молодой человек.

Я сваливаюсь с «седьмого неба».

— А, что?.. Какой билетик?

— Послушайте, товарищ ревизор! — грозно прогудел чей-то бас. — Будьте хоть сейчас человеком! Тут такое дело, а он...

— Извиняюсь, — сказал ревизор. — До меня не сразу дошло. Поздравляю и не смею беспокоить.

— Спасибо! — ответил я. — Большое спасибо.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Мы — экипаж	3
Каждый отличается по-своему.	7
Мы побиваем рекорд.	15
Они не пройдут! Мы пройдем!	23
Специальное задание.	42
Секунды, стоящие жизни.	54

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Борис Ермилович Тихомолов

На крыльях АДД

Ответственный редактор Е. М. Подкопаева. Художественный редактор Л. Д. Бирюков. Технич. редактор И. Я. Колодная. Корректор Г. Ю. Гнетова. Сдано в набор 28/V-73 г. Подписано в печать 8/X-73 г. Формат 70X90^{1/16}. Бум. офс. № 2. Печ. л. 4. Усл. печ. л. 4,68. Уч.-изд. л. 4,43. Тираж 300 000 экз. А12931. Заказ № 466. Цена 16 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата СМ РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

Тихомолов Б. Е.

На крыльях АДД. Записки летчика. Рис.
А. А. Лурье. М., «Дет. лит.», 1973.

63 с. с ил. (Слава солдатская).

Записки военного летчика об эпизодах Великой Отечественной войны.

Цена 16 коп.

